ФРАНК
FRANK WEDEKIND
ВЕДЕКИНД

Седой жених
и другие рассказы



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОКИДЫШЕВЪ И СЫНОВЬЯ

Седой жених и другие рассказы
Франк Ведекинд

Аннотация
Франк Ведекинд. Седой жених. и другие рассказы
Седой жених
Пожар в Еглисвиле
Рабби Эзра
Княгиня Русалка
Жертва искупления
Любовь с первого взгляда
У рынка
Мне скучно. (1883)
Предохранительная прививка

Аннотация

Франк Ведекинд – был загадкой не только для своих современников. Литературоведы и сегодня пытаются разгадать феномен этого крупнейшего представителя немецкого экспрессионизма. Стиль его произведений характеризуется безжалостным анализом человеческой психики и общества, при этом Ведекинд часто обращается к таким табуированным темам, как сексуальность, идентичность и социальные нормы. Разнообразие его произведений, от известных пьес, до менее известных эссе и рассказов, свидетельствует о глубоком критическом анализе эпохи рубежа XIX и XX веков.

Франк Ведекинд
Седой жених
и другие рассказы

© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
W W W. S O Y U Z. RU







* * *

Седой жених

Леовия Фишер была тонкой натурой. Черты ее лица скорее можно было назвать приятными, чем красивыми. Но выражение ее глаз и несколько приподнятые углы ее рта были обворожительны Знаток женщин сказал бы на первый взгляд, что ее красота не преходяща, но что и в преклонных годах, когда ее волосы подернет седина она будет также нравиться, как и теперь в своей молодости. Совершенством красоты отличались форма ее головы и ее иссиня-черные, густые волосы. Ее грудь была слабо развита, как у девушки, бедра были несколько узки, но она носила башмаки 36 размера и ее руки были бы несомненно прекрасны, если бы она, ведя дома хозяйство, не должна была стряпать, чистить и мыть.

Леония Фишер принадлежала к таким натурам, которые умеют приспосабливаться ко всем жизненным положениям и ко всем людям и никогда не делают ошибок, благодаря прирожденному чувству душевного такта и способности к самопожертвованию, одним словом к таким натурам, которые отзываются на страдания и пережива-

ния других и только тогда будут счастливы, когда будут счастливы их окружающие.

Пяти лет от роду Леония Фишер потеряла свою мать и с тех пор совершенно не выезжала из маленького городка Ленцбург. Ее отец все дни простаивал за стойкой в своей москательной лавке, а вечерами сидел в компании угрюмых бородачей в одном из многочисленных трактиров за круглым, тускло освещенным столом и никогда до одиннадцати не возвращался домой. Со смерти своей старшей сестры Леония почти каждый вечер проводила дома со своим рукоделием или с книгой из городской библиотеки и никогда не скучала. Уже семнадцати лет она могла бы сделать хорошую партию. Когда она отказалась от нее, отец стукнул кулаком по столу и назвал ее дурой. В ответ она только тихонько про себя посмеивалась; она ждала, кого ей было нужно, и на остальных не обращала никакого внимания. Когда-же он пришел, она долго не раздумывала, но ухватилась за него обеими руками.

Он был среднего роста, тридцати пяти лет, имел энергичную походку, доходное дело и, что для его невесты имело почти самое важное значение, — умел угадывать ее настроение. Она могла так просто говорить с ним о вещах, которые не

имели никакого отношения ни к его делу, ни к москательной торговле ее отца. Молодая пара проводила свой медовый месяц на Гардском озере. Каждый вечер они просиживали рядом на веранде в лучах заходящего солнца, мало разговаривали и, немного стыдясь своей томности, всем сердцем отдавались красоте момента. Когда глаза Леонии встречались с глазами ее мужа, углы ее рта вытягивались в улыбку. Он бросал на нее строгий взгляд, она краснела до корней волос и смотрела на него так умоляюще, как будто бы прося о прощении. В результате их руки встречались в долгом и нежном пожатии. Так повторялось ежедневно до самого заката солнца. Леония наслаждалась своим новым счастьем без всякого жеманства, с искренним самозабвением, но и без всякой оценки или критики личности. Она отдавалась главным образом самому чувству, хотя неоднократно радовалась про себя, что ей удалость найти такого милого и чуткого спутника жизни. Таким она рисовала его прежде в своих мечтах за семь лет одиночества под родительским кровом. Когда, стоя перед алтарем рядом со своим избранником, она произнесла «да», она твердо решила ни на кого не взваливать в будущем ответственности за свое личное счастье. С

горячей молитвой она просила Бога защитить ее и ее близких от неожиданных ударов судьбы.

В большом отеле было тихо. Двери были надежно закрыты, тяжелые гардины спущены, на столе горела ночная лампочка. Полночь уже давно миновала, а молодая парочка все еще никак не могла уснуть. Причиной бессонницы были в данном случае отсутствие необходимых движений за день и выпитая перед сном чашка кофе.

«Каким образом», спросил шепотом молодой муж, в твои двадцать лет, ты, несмотря на свою страстную натуру, все время остаёшься спокойной. Наблюдая твою характерную особенность двигаться и говорить в обществе, я начинаю думать, что ты уже прежде жила на этом свете. Другие девушки твоего возраста обыкновенно никогда не умеют сдерживаться, ты-же всегда становишься хладнокровный и решительней, если на твоём пути встречается какая-нибудь неприятность».

«Может быть, причиной этому то, что мне пришлось пережить в детстве», ответила молодая женщина. Свет ночника слабо отразился в ее глазах. Кругом продолжала безмолвствовать ночь.

«Что-же ты пережила?»

«Когда умерла моя сестра. Разве я тебе не рас-

сказывала?»

«Нет. Я не припоминаю».

«Ты видел ее фотографию. Она была почти на голову выше, чем я теперь, и имела более крепкое телосложение. Я едва могла охватить ее полные руки. Но она не была толстой или неуклюжей. Она была гибче меня, и когда она ходила, казалось, что сама земля приникает к ее ногам. Это впечатление, по всей вероятности, создавалось благодаря ее широким, полным бедрам. Но самым прекрасным в ней были ее шея и плечи. Когда я думаю о ней, я всегда вспоминаю ее красивую шею и покатые полные плечи. Будучи еще девушкой, она напоминала уже вполне развившуюся женщину, у которой уже было по крайней мере, двое, трое детей. Никто не мог думать, что она умрет. Только она сама — насколько мне не изменяет память всегда носилась с мрачными мыслями. Они отражались в ее глазах. Она постоянно рассказывала длинные истории о различных несчастьях, которые уже были или которые еще будут; при внимательном размышлении эти истории утрачивали всякий смысл. Она была всегда взволнована и боязлива. Под страхом несчастья и смерти, у нее, по правде говоря, никогда не было мужества жить.

И так до самого конца, пока все совершенно не изменилось. Но как раз эта перемена лишила ее последнего спокойствия.

Едва она начала носить длинные платья, она думала только об одном: как и когда она выйдет замуж. Но у нее было какое-то необъяснимое предчувствие, что это никогда не исполнится, что она не узнает счастья, что она умрет ранее своей свадьбы. Это предчувствие послужило причиной всему, что потом произошло.

«Я помню еще теперь, продолжала Леония, что, когда мне было десять лет, мы спали с ней в одной кровати. Рядом стояла колыбель, в которой лежала моя кукла, в другой кровати спала Елизавета, наша старая служанка. Елизавета храпела так громко, что часто будила нас обеих. Тогда мы шепотом разговаривали в темноте, как мы разговариваем теперь, только над нашими головами не было полога. Однажды Клара спросила меня, какого мужа я хотела бы иметь. Я никогда не думала об этом. Я ответила, что не знаю. Тогда она рассказала о себе, ее муж должен быть широкоплечим и высокого роста. Он должен иметь короткий, прямой нос, маленькие светлые усики и ослепительно-белые зубы. Его волосы должны быть коротко острижены, уши

не слишком велики, но он обязательно должен иметь красивые ноги и носить высокие сапоги с длинными шпорами. Она долго о нем рассказывала. Мы перерыли всех наших знакомых, но не нашли ни одного, кто бы пришелся ей покусу. В результате, положив голову ко мне на грудь и всхлипывая, она сказала: «Мне кажется, что я выйду замуж за пятидесяти- или шестидесяти летнего старика, совершенно беззубого, который при каждом слове будет кривиться и кашлять. О, Леония, Леония, если бы ты знала, как мне страшно, как я боюсь этого!»

Я чувствовала, как кровь приливала к ее голове, и ее полные руки были горячи, как огонь. Тогда она только год, как окончила школу. В другой раз, когда от храпа Елизаветы сотрясалась печь, она рассказала мне все, что происходит в жизни, почему люди женятся, почему девушки одеваются иначе, чем мужчины. Мне, все казалось так естественно, она-же старалась сделать из всего какую-то таинственную историю. От волнения она едва могла произносить слова, я слышала, как под одеялом бьется ее сердце. То, что она мне рассказала, было для меня совершенно ново, но я никогда не думала по этому поводу ничего сверхъестественного.

Когда три года спустя она вернулась из Вестфалии за это время она сделалась очень хорошенькой и обворожительной, — случай устроил так, что ей сделал предложение старый, хромой секретарь суда, который жил наискосок от нас. Четыре недели она не могла избавиться от тяжелого потрясения. Она не выходила из дома, не разговаривала, ни на кого не смотрела и совершенно не поднимала глаз. Временами казалось, что она сходит с ума. Секретарь был в городе очень уважаемый человек. Однако и я тоже не могла бы им увлечься. Он рассказал отцу, что хочет жениться на Кларе, так как она, по его мнению, обладает большим темпераментом. В этом он был совершенно прав. Она приняла его очень приветливо. Когда-же заметила, чего он от нее добивается, с ней началась истерика и судороги. Целый день мы прикладывали ей холодные компрессы.

«На следующее лето в Ленцбург приехал Рудольф Эльснер. Казалось, что само небо свело их вместе, что они родились и выросли друг для друга и что, обыскав полсвета, они никогда не нашли бы более подходящего выбора. Впервые она встретила его в предместье города по дороге к купальне; при первом-же взгляде ее осенило, как знамение свыше. У нее едва хватило сил идти

дальше. Она рассказала мне об этом, когда мы остались одни; она чувствовала во всем теле, как бурлила ее кровь. Вечером за ужином она жаловалась, что вода во время купанья была очень тепла и неприятна. В тот день температура воды была всего одиннадцать градусов. Ей было страшно трудно сдержать себя; однако и у него было не лучше. Уже на другой день он пришел и купил папирос. Я и Клара стояли наверху у окна. Это быль настоящий Геркулес с огромной, богатырской грудью. Еще от ратуши доносился до нас стук его шагов. Усов у него не было, так как ему было только двадцать три года. Но тем отчетливее вырисовывался широкий, полный, выразительный рот, окаймленный узкими губами. Проходя через нижние ворота, он невольно нагнулся. Сзади казалось, что сквозь рукава его куртки вырисовываются мускулы его рук. Шляпу он носил сдвинутой на затылок. Это была в нем единственная небрежная черта. Его голова всегда была гордо поднята. Он только что окончил свою военную службу, если не ошибаюсь, артиллерийскую офицерскую школу. Теперь он поступил приказчиком в лавку железных изделий около нижних ворот. С восхищением следила я за тем, как Клара, позабыв обо всем на свете и с трудом

переводя дыхание, стояла рядом со мной. Я была еще ребенком, но все-таки, когда четырнадцать дней спустя они тайно обручились, я радовалась не менее, чем она сама.

«Они встретились на почте, он писал открытку, она искала ручку, он уступил ей свою, затем они обручились. Они почти не произнесли ни слова. Он закусил губы и посмотрел ей в самую душу. Она сделала тоже самое, вероятно еще с большей страстью, и тогда все было решено раз и навсегда. Вернувшись домой, она упала на колени перед диваном, крича и плача от счастья.

«Пока они не могли открыто обручиться. Он был еще приказчиком, но предполагал вступить в дело в качестве совладельца. Его отец был очень богатый человек, за Кларой тоже давались деньги, но они должны были ждать, по крайней мере, еще один год. Каждый вечер, когда закрывались лавки, Клара и я отправлялись вместе к Римскому камню. Она брала меня с собой, чтобы другие девушки не стали за ней следить. Там они целовались целый час, вплоть до самого ужина. Я всегда сидела рядом; Клара приказала мне никогда не оставлять их одних и, мне кажется, он был ей за это очень благодарен; по крайней мере он понимал ее; они не хотели

портить своего будущего счастья. Но для меня было не пустяшное дело каждый вечер следить, как красные от возбуждения они начинали дрожать и, не произнося в течении целого часа ни слова, выглядели, как тучи, из которых готова ударить молния. Когда Рудольф оборачивался, он всегда приветливо улыбался. Я постоянно брала с собой книгу, но иногда буквы расплывались перед моими глазами. Когда я в таких случаях смотрела на Клару, она вытирала слезы. Часто, когда мы возвращались, мне было так жаль ее, но я не хотела портить настроения и молчала. Так продолжалось целый год под лучами солнца, под дождем, под снегом. Однажды зимой перед возвращением к ужину я порвала свою юбку, так как она примерзла к скамье, на которой я сидела. В конце следующего лета, приблизительно в сентябре, Рудольф съездил домой и уладил все со своим отцом. Через шесть месяцев отец хотел дать ему деньги. Это должно было произойти в феврале. Тогда он мог жениться на Кларе и поехать с ней в Италию. Тотчас-же были разосланы приглашения, отовсюду посыпались поздравления, которые несколько развеяли Клару. Все казалось ей настолько забавным, что она тогда стала радостной и веселой, как и другие девушки

в таком положении.

Теперь он приходил каждый вечер к нам. Отец сидел в трактире, я готовила мои уроки. Они старались держаться спокойнее; поцелуи их уже не удовлетворяли, для них они были уже не то, что в начале; они стали сдержаннее и свадьба приближалась с каждым днем.

Пока же они пожирали друг друга глазами. Я и теперь вижу, как они молча сидят один против другого, она на диване, он на табурете без спинки, прямо, без движения, но как на раскаленных углях.

Я старалась их отвлечь и рассказывала им о том, что читала, пока не замечала, что меня никто не слушает. Тогда я тоже замолкала и продолжала делать свои уроки. Наступала мертвая тишина. Было слышно только треск пламени, скрип пера и тяжелое дыхание.

… первого декабря с Кларой сразу после обеда произошел ужасный приступ. Она потеряла сознание, ее лицо и руки посинели, как от чернил, дыхание было незаметно, а сердце стучало так сильно, что, несмотря на ее полноту, его удары были видны сквозь платье. Я расстегнула ее корсет, но ничего не помогало. Когда пришел доктор, она уже лежала в кровати. Он установил у нее

тяжелый порок сердца. Он дал ей лекарство, от которого она снова пришла в сознание. Когда она открыла глаза, ее первыми словами были: «Леония, Леония, я должна умереть».

Вечером снова пришел доктор; Рудольф и я стояли у ее кровати. Он знал, что Рудольф и Клара были обручены. Уходя, он сказал мне, что я ни в коем случае не должна пускать к ней Рудольфа; он видел, как это волнует ее; приступ произошел только от сильного возбуждения, в котором она находится; если я когда-нибудь допущу его к ее кровати, это может вызвать ее смерть. Тоже самое внизу в лавке он сказал отцу. Мне было поручено передать об этом Рудольфу. На следующее утро, конечно, я не пошла в школу. Старая Елизавета не жила больше у нас с того времени, как Клара вернулась из пансиона и могла помогать по хозяйству. В той кровати, в которой прежде спала Елизавета, теперь спала я. Первую ночь я каждый час вставала и меняла Кларе ледяные компрессы на области сердца. На другой день, когда не наступило никакого улучшения, мы взяли сиделку, которая оставалась у нас весь день и помогала по хозяйству, чтобы я могла не пропускать школьных занятий. Рудольф сразу окаменел, когда я ему сказала, что он не может у

нее бывать; он ничего не ответил; мне казалось, что он меня совершенно не понял.

Рано утром, в полдень и вечером он заходил в лавку и справлялся о ее положении. Положение было скверное. Всю ночь она задыхалась и совершенно не смыкала глаз. Только утром она ненадолго засыпала. У нее ничего не болело, но лишь только она вставала, ей делалось дурно. При этом она выглядела, как всегда, если даже не лучше; ее большие, темные глаза горели странным блеском, в чертах было что-то величественное, одним словом, она была прекрасна. Конечно, все время она говорила только о нем; со слезами на глазах она умоляла меня впустить его к ней. Я ответила, что сейчас нельзя, что скоро она поправится и тогда они повенчаются. Но она смотрела на белый потолок с таким выражением, как будто бы знала, что это никогда не произойдет.

Шаги Рудольфа доносились к нам с улицы. Каждую ночь до одиннадцати, двенадцати он блуждал вокруг дома. Я чувствовала, как что-то сжимало мое горло. Мне хотелось броситься на кровать и зарыдать вместе с моей сестрой. Но я знала, что я не должна показывать вида, чтобы не лишать ее последнего мужества и подавляла в себе рыдания.

На следующую ночь я видела во сне, что я говорю с Рудольфом. Он стоял передо мной на коленях с поднятыми кверху руками, в одной из них он держал нож, которым он хотел убить себя. Но я только повторяла: «Нет, нет, нет, нет, нет!» и радовалась, видя, как он мучается. Вдруг сразу все покрылось кровью. Я проснулась и слышала, как Клара произносила в слух: «Милосердный Господь, сжалься надо мною! Чем я это заслужила. О, Рудольф, Рудольф!»

Я встала и дала ей порошок. Затем в ночной рубашке я села у печки и слушала, как она рассказывала все, что слышала от него об его военной службе и об офицерской школе. На следующий день у нас был первый урок арифметики. Я сделала свои задачи, но когда я должна была считать у доски, я не могла сказать, сколько будет дважды два. Мои товарки во время перемены спрашивали меня, что со мной. Я видела, как они, прыгая через веревочку, бегали вокруг школы, но они казались мне призраками, и я думала все время только о Рудольфе и Кларе. Домой я пошла под руку с Марией Гемман, моей подругой. Она была настолько тактична, что не расспрашивала меня, почему я все-время молчу, и когда мы встретили у нашего дома Рудольфа, она оставила нас одних.

Когда он стоял передо мной, он дрожал, как осиновый лист. Он схватился за грудь и сказал, что он чувствует, как она должна страдать, и если она умрет, в этом будет виновато распоряжение врача; с каким наслаждением он задушил бы его за его дьявольскую науку. — Я ответила, пусть он сам скажет об этом доктору; я сочувствую ему, но не могу ничем помочь.

Тогда он взял мою руку и до боли сжал ее, а другой рукой начал гладить мои волосы. «Нет», сказал он: «ты не можешь меня понять, ведь, ты еще девочка. Но ты можешь помочь. Твой отец каждый вечер уходит в трактир, ты остаешься одна с Кларой, тогда…»

«Боже мой», воскликнула я, я не могу! Я не могу!» — вырвалась от него и убежала домой. Я не пошла к Кларе, а осталась на кухне и плакала до тех пор, пока не был подан ужин.

Вечером пришел доктор и сделал очень серьезную мину, хотя мы и не замечали никакого ухудшения. Он ощупал пульс и полчаса выслушивал сердце. «Ради Бога, избегать всякого волнения!» сказал он.

После ужина я осталась с ней одна, и она сказала мне тоже самое, что говорил Рудольф. Можно было подумать, что они сговорились. Она утвер-

ждала, что я не люблю ее, что я для нее не сестра. При этом она безостановочно рыдала, так что ее подушка стала совершенно мокрой. Я должна привести его, он ждет там внизу; она не боится смерти, она знает, что она долго не проживет, но я должна оставить ее наедине с ним. — Она упиралась на локти, а боль сотрясала все ее тело. Мне казалось, что эта боль не прекратится. Только когда на улице затихли его шаги, она несколько успокоилась.

Ночью я неожиданно проснулась от страшного крика, который никогда не забуду. Я вскочила с постели и дала ей воды. Она выпила целую бутылку. Ей приснился кошмар. Утром, когда я умывалась и одевалась, она рассказала свой сон. — Лишь только она закрывает глаза, рассказывала она, она видит какого-то старика. Впервые он пришел во время ее первого приступа, когда она лежала без сознания. У него огромная лысина, большие оттопыренные уши, серая коротко-остриженная борода и маленький, сморщенный нос. Его грудь напоминает грудь ребенка, и его тонкие брюки протерты на коленях. Он всегда носить цилиндр и черный фрак и стучит палкой, на которую опирается. Его лицо имеет такое отвратительное выражение, что в жилах стынет

кровь. Он сразу-же назвал себя ее женихом, через четырнадцать дней он сыграет с ней свадьбу. Каждый раз он ее целует; она упирается локтями и коленями, но он так крепко сжимает ее голову, что она должна переносить его поцелуи.

В последнюю ночь он хотел взять ее с собой. Рудольф бросился защищать ее, но старик ударил его палкой по глазам. Затем он нагнулся к ней. Она ясно чувствовала, что она лежит в кровати. Все ближе и ближе видела она его слезящиеся, красноватые глазки и его желтое лицо с темными пятнами. Когда она почувствовала под головой его тонкую, костлявую руку, она вскрикнула. — «О, Рудольф, я больше не увижу тебя, я больше не увижу тебя!»

Когда я спустилась вниз, Рудольф стоял у отца в лавке с опущенной головой, но во всей его фигуре было столько мужества и силы, столько выражения любви, какого я никогда еще не видела. Он хотел подойти ко мне, но я как можно быстрее побежала в школу.

Два первых урока прошли в каком-то тумане. Перед моими глазами все время стоял этот ужасный старик, склоняющийся над моею сестрою.

Затем у нас был урок немецкого языка, тогда мысли мало-помалу вернулись ко мне. Учителем

у нас был дряхлый, но очень добрый старик. Каждый урок мы, все пятнадцать учениц, по очереди читали ему один и тот же текст, и он хвалил каждую. Он не мог только переносить, если наши юбки были слишком коротки и в косы мы вплетали пестрые ленты. Тогда он называл нас кокетливыми дурами. Мария Гемман, когда он однажды высказался по поводу ее платья, возразила, что она совершенно не виновата в том, что у нее такие длинные ноги. Тогда он забрался за свою кафедру, поднял крышку и в течении пятнадцати минуть не показывался наружу.

Это смерть, — думала я. Смерть хочет ее похитить. Тогда я решила сразу же по окончании уроков отправиться к доктору и спросить его может ли Клара поправиться. Меня что-то мучило, этого чувства с тех пор я никогда больше не испытывала, но тогда мне казалось, что мне будет плохо от боли. Я чувствовала то, что должна бы была чувствовать на месте Клары. Я переживала ее тоску о Рудольфе и ее ужас перед стариком. Ты злой дьявол без сочувствия и любви, — подумала я про себя; Клара волнуется, потому что не видит его, ничто не может ее больше встревожить, если он придет к ней, она вероятно успокоится. А если она должна умереть, если она умрет,

не простившись с ним! Затем я подумала, что старик не имеет на нее никакого права, только Рудольф может ее целовать. Старик, думала я, это — смерть, Рудольф-же жизнь. Когда Рудольф будет там, старик не решится приблизиться к ней. А если старик все-таки должен ее получить, то не все равно-ли, увидит-ли она перед этим еще раз Рудольфа или нет.

В двенадцать часов после окончания уроков я побежала к доктору; книги я оставила в школе. Вероятно, я выглядела очень странно; он притянул меня к себе и сказал: он уже давно знал, что ее нельзя спасти; его помощь совершенно бесполезна, я не должна плакать, она уже теперь там у Бога. — Из моих глаз полились слезы. — Я сказала, что я хотела только спросить его. Он ответил, что ее состояние может улучшиться, но что оно безнадежно.

Теперь я знала, что я должна была делать.

Боясь, что ужасное свершится и она не успеет увидеться с Рудольфом, я побежала домой, но застала Клару в обычном положении, прекрасной, как роза, в полном цвету. Всхлипывая, она начала меня умолять: «Впусти его ко мне, Леония. Прошу тебя, впусти его ко мне». Я ответила: «Сегодня вечером». Тогда она обвила мою шею руками,

поцеловала меня и так крепко прижала к груди, как если бы это был ее Рудольф. Я же думала о докторе, о том, что он сказал, об ужасном старике. Не выпуская меня из своих рук, она прошептала мне на ухо: «Но ты оставишь нас одних». Я ответила «да», затем пришла сиделка с супом для Клары и позвала меня в столовую.

Но не успела я сесть за стол, как внезапная мысль прорезала мой мозг. Еще вчера она сказала, что я должна оставить их одних. Хотя я еще ходила в школу, я уже знала о жизни вполне достаточно, чтобы понять, чего она хочет. Меня бросало то в жар, то в холод. Нет, подумала я, ты не должна этого делать. До сих пор Клара была порядочной девушкой, а если это совершиться, она утратить свою честь.

Тогда я вспомнила старика, который хотел ее изнасиловать. Затем я думала, что в конце концов она должна умереть — умереть, не познав той любви, которую познают все замужние женщины. Я подумала, что Бог, в сущности говоря, поступает очень жестоко. Едва-ли какая-либо другая девушка была настолько создана для любви, как моя сестра.

В час дня у нас был урок для подготовки к конфирмации. До начала занятий я гуляла по

коридору с Марией Гемман. Мальчики, у которых был урок вместе с нами, стояли в стороне и глядели на наши ноги. У Марии были высокие, желтые ботинки на шнурках, на мне совершенно новые туфли. Она спросила о состоянии здоровья моей сестры, и мне захотелось рассказать ей обо всем, что тревожило меня. Но с первых же слов я увидела, что она не понимает, о чем идет речь. Мне приходилось ей все разъяснять, поэтому я предпочла замолчать.

Во время урока пастор, в которого были влюблены все ученицы, объяснял нам, как саддукеи пришли к Христу, спрашивая его, какую жену получит мужчина на том свете, если у него было прежде семь жен, и как Христос ответил, что на том свете между мужчиной и женщиной не будет никакой разницы. Тогда с моего сердца пала огромная тяжесть. Если на том свете нет ни мужчин, ни женщин, в таком случае не все ли равно, увидится ли Клара с ним еще раз или нет. Мое решение было принято. В то время, как пастор продолжал рассказывать, я обратилась к Богу со следующими словами: Если ты хочешь, чтобы я не допустила к ней Рудольфа, тогда сделай так, что ее состояние до вечера улучшится. Если ты хочешь, ты можешь это сделать. До само-

го вечера я не пойду домой, и если ей будет хотя бы немного лучше, я не допущу к ней Рудольфа. Но если улучшения не будет, я это сделаю. Ты, милосердный Господь, всегда можешь помешать, если ты не хочешь, чтобы это произошло. Ты можешь сбросить кирпич на мою голову или направить на меня убийцу. Хотя я еще молода, я охотно рискую своей жизнью. Но если ничего не случится, я буду знать, что так должно быть, так как ты можешь все, что ты хочешь.

Весь вечер блуждала я за городом на покрытых снегом полях. Я пошла в лес и, когда я подошла к Римскому камню, мне стало казаться, что в любой момент кто-нибудь может выскочить из кустов и убить меня. Когда городские часы пробили шесть я повернула обратно. Клара лежала в постели и жаловалась на сердцебиение. Старик снова был здесь, сказала она. Между ними произошла ужасная борьба. Перед уходом он сказал, что в сегодняшнюю ночь у них состоится свадьба, она ответила ему: «Да, с Рудольфом, с Рудольфом, но не с тобой!»

В семь часов отец отправился в трактир, а в восемь ушла сиделка. Тогда я спустилась вниз, тихонько открыла дверь и впустила его. Когда я поднималась за ним по лестнице, я не заме-

тила ничего особенного в его походке. Но когда я открыла дверь в ее комнату, я увидела, как с каждым шагом слабели его ноги, пока он не рухнулся на кровать, брошенный невидимой силой. Я тихонько прикрыла дверь и ушла в кухню, тускло освещенную лигроиновой лампой. Там я бросилась на колени и умоляла Бога, чтобы он не воздавал Кларе за ее проступок, чтобы он не наказывал за это ее, как говорил доктор, но пусть он накажет меня, и я с радостью вытерплю все, все мучения, если Клара останется жить, так как я виновата в ее теперешнем проступке.

Я слышала, как часы пробили девять. Затем пробило десять. Мне казалось, что время проходит с быстротой молнии. В половине одиннадцатого я с лампой в руках поднялась кверху. Я почти вошла в комнату, но вовремя остановилась. Я постучала и сказала, что уже половина одиннадцатого. Прошли четверть часа, которые мне показались вечностью. Мне послышался стук с улицы, я задержала дыхание, но до меня доносились только поцелуи и вздохи по ту сторону двери. Я снова постучала. Тогда закутанный в плащ со сдвинутой на лоб шляпой из комнаты вышел Рудольф. Я посветила ему на лестнице. Внизу в проходе он, молча, пожал мне руку. Затем я его выпустила.

Меня интересовало, в каком положении я застану Клару. Казалось, что на ней лежал нежный луч заката, она была полна самых радужных надежд, такой я еще не видела ее никогда в жизни. О смерти ни полслова. Она говорила только о своей свадьбе, о том, что они поедут вместе в Италию. Завтра она снова встанет с постели. Затем она заговорила о прошлом, как мы играли вместе маленькими детьми и как она иногда меня мучила. При этом она смеялась, а я плакала от счастья на ее груди.

Она долго не могла успокоиться. Наконец она уснула.

Утром, когда я встала, она лежала спокойно и я не хотела ее тревожить. Ее голова покоилась глубоко в подушках. На цыпочках, как можно осторожнее, я вышла из комнаты. Внизу я сказала, что она спит. Но лишь только я пришла в школу, за мной прибежала сиделка и вернула меня домой. Когда я вошла в комнату, отец и доктор стояли перед ее кроватью. Она была мертва».

Во всем отеле царила гробовая тишина. Новоиспеченный супруг слушал рассказ своей молодой жены с очень смешанным чувством. Но затем он подумал, что, если эта женщина, будучи пятнадцатилетней девочкой так чутко могла

отзываться на переживания других, то тем более она способна на это взрослой женщиной. И он радовался, что нашел такое сокровище, спокойное, бескорыстное и способное на жертву.

Пожар в Еглисвиле

Посвящается Марселю Зальцеру

В кантоне Аргау в Северной Швейцарии замки встречаются гораздо чаще, чем в Северной Германии крестьянские усадьбы. Вершина каждой горы, каждый выступ увенчаны старинным замком или по крайней мере его развалинами. Из чердачного окна любого замка при помощи подзорной трубы всегда можно отыскать в отдалении два, три других замка. На пространстве нескольких верст расположены Вильдег, Габсбург, Брунек, Кастельн, Вильденштейн, Мицбург, Либег и Гальвиль. Когда мне было 8 лет, отец купил замок Ленцбург, расположенный у небольшого городка. В окрестностях этого города кроме замка была еще другая достопримечательность, а именно: построенная по американскому образцу кантонная тюрьма. Окрестные помещики обыкновенно нанимали для выполнения, тяжелых работ арестантов, которые уже сжились с тюремным режимом и не проявляли попыток к бегству. Среди таких рабочих нередко встречались серьезные преступники.

В 1876 году недалеко от нашего дома обвалился кусок скалы и почти совершенно засыпал проезжую дорогу. Приходилось прорывать глубокие канавы, чтобы устроить отток для скопившейся на нашем участке воды. Мой отец обратился к директору тюрьмы, который и предоставил в его распоряжение нескольких из своих подопечных в сопровождении одного тюремного надзирателя. Мой отец сам с раннего утра до позднего вечера присутствовал при работе. Так как арестантам запрещалось курить, отец одаривал их жевательным табаком. Однажды отцу понадобилось купить длинную свинцовую трубу. Он отправился в город и взял с собой одного из заключенных. На обратном пути я встретил его у подножия горы, когда возвращался из школы. Мы медленно начали подниматься в гору — в средине отец, несмотря на свои шестьдесят лет, еще бодрый и свежий, справа от него арестант с мрачным, небритым лицом в синей тиковой одежде со свинцовой трубой на плечах, слева — я с ранцем за плечами.

«Сколько времени вы уже находитесь в тюрьме?» — спросил отец арестанта.

«Семь лет».

«Сколько вам еще нужно сидеть?»

«Восемь лет».

«За что вы попали туда?»

«Я — поджигатель», ответил арестант.

«У вас вероятно были долги, и вы хотели получить страховую премию?»

«У меня никогда не было ни дома, ни долгов. Я служил в батраках. Но...» и он рассказал нам свою историю.

Он был родом из деревни Еглисвиль, где и совершил свое преступление. В это время мне было не более 12 лет, но его рассказ произвел на меня такое впечатление, что даже теперь, двадцать лет спустя, я живо вспоминаю отдельные слова его рассказа.

«Сусанна Амраин», начал арестант, это было что-то необыкновенное! Господь Бог щедро наградил ее всем, что может иметь женщина. Каждый мужчина рад был бы обладать ею. Каждый день она мылась мылом и расчесывала волосы и всегда носила под лифом чистую рубашку. Я же был обычным батраком у Сутера. Община вскормила и вспоила меня с малых лет. Я не знал, кто моя мать, не говоря уже об отце. Я вообще ничего не знал о себе, пока однажды Сусанна не сказала, что ее отец сказал ей, что мне девятнадцать лет и через два года я должен идти в солдаты. Она

пришла к колодцу за водой, куда я привел поить Бети, так как другой батрак уехал в город. При этом она так посмотрела на меня, что я обернулся и подумал: видимо мне показалось и на самом деле она смотрит на Бети, так странно блестели ее глаза. Тебе девятнадцать лет, промолвил я вслух, отводя Бети на место в стойло и с того времени со мной начало твориться что-то неладное.

«Сусанна сама сделала первый шаг. До тех пор я никогда бы не осмелился посмотреть ей прямо в глаза. Мне кажется, я и во сне не сделал бы этого. Я смотрел только ей в след, когда она, поворачивая ко мне спину, возвращалась домой. А тут вдруг такой взгляд. На следующий день она сказала, чтобы я в воскресенье приходил в «Егли». Я ответил, что у меня нет денег. Она сказала, что это пустяки. В воскресенье я направился в «Егли» и, остановившись в дверях, смотрел как они там танцевали. Затем пришла Сусанна со своей подругой, маленькой Марианной, и втащила меня внутрь. Она заставила меня танцевать с Марианной. Сперва у нас не ладилось. Я не смел прижимать к себе Марианну, но она была настолько искусна, что не успели мы сделать трех кругов, как у нас все стало получаться также страстно, как и у других танцующих. Тогда я в

очередной раз понял, что со мной что-то не так. Сусанна бросила своего кавалера, взяла меня из рук Марианны и уже ни с кем другим не танцевала весь вечер. Только тогда, когда музыканты отдыхали, она поила меня вином, чтобы я не терял своих сил. После этого я так крепко прижимал ее к себе, что ее плечи дрожали, а ноги подкашивались. Когда танцы окончились она потащила меня за собой. Марианна должна была следить, чтобы никто не пошел за нами. Башмаки я оставил внизу у колодца. Над ее кроватью были нарисованы две розы…

«С тех пор каждую ночь я пробирался через окно к Сусанне. — Но затем я закрутил с Вероникой, дочерью богатого Лезера, гордой красавицей, первой девушкой во всей деревне. По воскресеньям она ходила со своими товарками по деревне обнявшись, так что даже не могла проехать телега, — Вероника, как самая высокая шла в средине. Когда встречался какой-нибудь парень, они все смотрели ему в лицо, прямо в глаза; когда он проходил они смеялись так громко, что было слышно у самой церкви. У Вероники уже год как был свой кавалер. Но с осени Роди Вебер занемог сухоткой. В «Егли» он не мог уже долго танцевать, и даже вино не помогало ему. Положив руки на

стол, он сидел и молча смотрел на танцующих. Когда Вероника увидела, как я, не отдыхая, танцевал весь вечер с Сусанной, она подошла и стала просить Сусанну о разрешении потанцевать со мной, обещая ей не отбивать меня. Сусанна не согласилась, но я взял и пошел с ней танцевать. Сусанна выбежала из комнаты. На улице она бросилась на скамейку и начала плакать.

Вероника-же, танцуя со мной, много хохотала. Тогда я почувствовал, как она горяча. Где бы я не прикасался к ее телу, оно было плотно, как будто ее всю зиму откармливали специально для убоя. Если бы она была трехгодовалой телкой, клянусь, я заплатил бы за нее двадцать наполеонов. Мы не выпускали друг друга из объятий и, также обнявшись, отправились домой. Когда пробил час ночи, в ставню кто-то постучался. — Это Роди Вебер, сказала она, — встала с постели и пожелала ему через окно спокойной ночи, чтобы он не сердился. Затем она потребовала, чтобы я больше не ходил к Сусанне, а так как она мне нравилась, я обещал ей это.

Но на другой день я подумал, что я должен идти к Сусанне. Поэтому, когда наступила ночь, я отправился к ней и все ей рассказал. Она сказала, что она не такая, как Вероника, она разрешает

мне гулять с другими, я не должен ходить только к ее подруге, маленькой Марианне. Я обещал ей, так как она была такая добрая девушка.

Но на следующий день я подумал, что со стороны Сусанны не хорошо запрещать мне ходить к Марианне.

Когда наша Муни отбила себе из-за гололедицы ноги, в кузницу пришла маленькая Марианна и сказала, что отец сейчас спустится, он варит напиток для больной лошади старшины. Тогда я спросил ее, могу-ли я прийти к ней. Марианна стояла, не шевелясь и безучастно следя за пылающими углями, затем она повернулась и тихо пошла по лестнице.

«В воскресенье в «Егли» между большой Вероникой и Сусанной возник спор. Я танцевал весь вечер с маленькой Марианной. Когда танцы закончились, они снова помирились, и мы вчетвером отправились домой. Они держали меня в средине, как будто боялись, что я могу убежать. В ближайшее воскресенье мы таким же образом пошли по деревне. Парни ругались и грозились меня убить. Девки же высмеивали их и пялили на меня глаза, как на чудо, так как я шел с тремя самыми красивыми девушками. Вероника же, Сусанна и Марианна не смотрели ни направо, ни

налево. Они спорили между собой, как сороки, и хохотали на всю деревню. Навстречу нам попался пастор, но сделал вид, как будто бы он нас не видит. Только мне он посмотрел прямо в глаза. Но я подумал, что он завидует, так как он сам был слаб и стар.

Маленькая Марианна меня очень любила, она подарила мне трубку. Я показал трубку Сусанне, тогда Сусанна подарила мне большую меховую шапку. Шапку я показал Веронике и получил от нее в подарок серебряные часы. — Когда-же наступило время посева, в деревне не осталось ни одной девушки, у которой я не побывал бы ночью. Днем я работал на славу. Сутер не мог на меня нарадоваться. Все удивлялись, как я возмужал за один год. Мои плечи сделались широки, руки мускулисты, я приобрел ловкость и силу, и никто уже больше не решался потешаться надо мной, иначе ему пришлось бы очень плохо!

«Парень выровнялся, — говорил Сутер. Теперь его не забракуют в солдаты».

«Наступило лето. Однажды ночью я открыл дверь своей комнаты и натолкнулся на жену Сутера. — Куда идешь, Ганс? — А вас почему это интересует, хозяйка? — Ганс, я расскажу об этом мужу. Тогда я вернулся назад.

Жена Сутера была тридцатипятилетняя женщина. Ее лицо уже не было сочными лугами, это было старое жниво. Но я подумал: ради Сусанны я должен это сделать, иначе жена Сутера разболтает все мужу. Бети повернула во сне голову, жена Сутера сделала вид, как будто она не знает Бети. Но я-то знал, что творилось, и я сказал: Если вы расскажете Сутеру, что я ухожу по ночам из дому, я расскажу ему, что вы сейчас сделали. Она больше никогда не пришла, и я мог отправляться, куда мне было угодно».

«Прошли сенокос, жатва, уборка хлеба, а затем наступил сбор винограда. Тогда Господь Бог наказал меня за прошлое и, сделав меня поджигателем, сократил мою жизнь. Там выше произошло это в замке Вильдег. Замковый виноградарь, наш земляк, взял из Еглисвиля сборщиков и сборщиц. Урожай в том году был обильный — с тех пор я больше никогда не собирал винограда. Сбор продолжался три дня. Нас было семь мужчин и двадцать женщин. На третий день вечером хозяин привел цыгана со скрипкой, и мы начали танцевать на траве во дворе замка. Тамошние рабочие развесили фонари, из замка пришли другие девушки и приняли участие в танцах. Там я увидел одну девушку,

родом из Швабии, служившую в горничных. Она была маленькая, худенькая, как щепочка, но ее глаза я не могу забыть до сего времени и даже теперь вижу их, как наяву. Она только один раз танцевала со мной. Когда мы возвращались, она шла с толстой кухаркой по дороге и пела. Звук ее голоса всю ночь раздавался в моих ушах. Я не спал всю ночь и лежа на койке смотрел на тусклый свет фонаря. Вечером я снова спустился в Вильдег за забытой корзиной, горничная пошла со мной на нижний двор под скалы и подставила свой рот для поцелуев.

Когда я возвращался — здесь в груди что-то болело. Я не знал причины, так как я никогда не хворал. Во второй вечер я снова был там и просил разрешить мне остаться у нее до утра, но она отказала. Я плакал. Три дня я напрасно принимался за работу: у меня ничего не клеилось. Сутер говорил: что с Гансом? Он не есть, не пьет, не работает. — Тогда ночью я снова направился в Вильдег. С каждым шагом мне становилось лучше. Ворота были закрыты, все спало. Я просидел там до утра и больше уже не вернулся в Егливиль; в ближайшей деревне я нанялся на работу. Когда опускались сумерки, я поднимался каждый вечер к замку и, если я видел лишь кончик ее

фартука, я был счастлив. Однажды я поехал с дровами в Ленцбург. Там я купил кольцо, чтобы при встрече подарить ей. Она смеялась, когда я отдал ей его, и разрешила поцеловать себя. Затем она сказала, что послезавтра, когда стемнеет, я снова могу прийти. Когда я спускался с горы, я думал: Еглисвиль остался там далеко, теперь ты сделался хорошим человеком, и ты будешь счастлив в этой жизни. И поработал-же я эти три дня, пока я снова не увидел Марию — так было ее имя, — хозяин никогда не имел такого хорошего работника. Во время работы мне приходили в голову такие мысли: после солдатчины ты будешь беречь каждый грош, пока не накопишь достаточно для покупки дома и земли. Тогда ты направишься в замок и спросишь Марию, захочет-ли она быть твоей женой. Если она скажет нет, ты поедешь в Америку и никогда не женишься. Но Мария не сделает этого, иначе она сказала бы уже теперь нет и не просила бы тебя прийти после завтра.

«Семь лет я думал, но никак не мог понять, что привело меня в тюрьму, что заставило меня так глупо испортить себе лучшие годы жизни. — Мария была ветреным существом, погуляв со мной внизу под скалами три недели по снегу и холоду, она захотела тепла, и я не мог сердится на

нее за это. Она показала мне в скалах, где я могу забраться в ее комнату. Она жила в маленькой комнатке, вырубленной в диком камне, под большим окном, где спала хозяйка дома. Когда внизу в деревне пробило двенадцать, я вскарабкался наверх, дрожа от страха, чтобы сорвавшийся камень не разбудил спавших господ. — Мария отворила тихонько окно и также неслышно его закрыла. В молчании прошел час. Между нами ничего не произошло. Я оставил ее такой какой же, какой она была до моего прихода.

«По обрыву я ринулся вниз. Мои руки и ноги были, как неживые. У меня было такое чувство, как будто мое горло стягивала и душила веревка. И в груди, и в спине везде было это проклятое чувство, а временами мне казалось, что мне вырвали сердце. Я был отравлен с ног до головы. Сперва я хотел утопиться, но потом пришла мысль: Нет, что она обо мне подумает! Боже мой, что она обо мне подумает! Она не плакала и не смеялась. Она была холодна, как лед. Потом я вспомнил о Сусанне, о Веронике, о Марианне. Они во всем виноваты, убеждал я себя, одни они! Я знаю, что это была неправда, но тогда я поверил этому и побежал по дороге к Еглисвилю.

За эти семь лет тюрьмы на меня иногда нахо-

дили минуты отчаяния, я выл, как дикий зверь, и катался по плитам, пока меня не закрывали в помещение без света и без воздуха. В такие минуты я вспоминал эту ночь и думал: пусть они делают с тобой, что хотят, то, что ты пережил в ту ночь, больше никогда не повторится: оно пережито, оно осталось в прошлом. Если бы меня в то время кто-нибудь схватил, связал, бросил бы на скамью и избил, я не знаю, как бы я был ему за это благодарен. Но тогда никто не пришел. Когда я по лесу перебирался через гору, я кричал и выл, как бык на бойне. Бушевавшее во мне пламя разгоралось все сильней и сильней. Мне казалось: я нахожусь в горящем доме. В окнах, в дверях, куда бы я не кинулся, везде мое лицо лизали языки пламени. Промерзшая земля горела под ногами, и я бежал все дальше и дальше. Неведомая сила толкала меня вперед; сперва я не знал, что я должен был делать, но вдруг мое сознание прояснилось. Мне сделалось легче, но я не переставал бежать: я боялся, что день наступит раньше и разрушит мои планы. Я видел только огонь и огонь. По вершинам деревьев прошумел ветер. Он дует справа, подумал я. Оттуда ты должен начать, ветер разнесет дальше. Пруд замерз, подумал я, тем лучше, тем лучше.

Когда я подошел к Еглисвилю, я прокрался с левой стороны деревни — откуда дул ветер. Я обошел пять домов. Третий с краю быль дом Лезера, я вспомнил Веронику, которая могла сгореть вместе с остальными, и развел огонь. Затем я побежал обратно. Когда я достиг леса, огонь уже разгорелся, и мое сердце радостно забилось. Проходя по лесу, я услышал звуки набата в Ленцбурге, Штрауберге и по другую сторону в Амрисвиле. Потом раздалось: бум-бум! Ночной сторож в замке Ленцбург выстрелил из пушки. Я подумал: огонь занялся, зарево будет видно далеко в окрестностях. Когда я вышел из леса, небо сзади меня пылало, внизу по дороге громыхала пожарная машина. Старайтесь, старайтесь, подумал я, что-то вы сделаете без воды, и побежал дальше к Вильдегу. Я не помню, как я поднялся по скале и осторожно постучал в окно. К окну подошла Мария. Открой окно, Мария, сказал я: Впусти меня! Она открыла окно. Посмотри, там пожар! — Где пожар? Что такое? — Разве ты не видишь? Все небо объято заревом! О, мой Бог! — Вся деревня горит! Весь Еглисвиль! Я сделал это. Посмотри, какое пламя. Я поджег в пяти местах! Посмотри! посмотри!

«Но она по-прежнему оставалась холодной.

Это не задело ее. Ее лицо было бледно. Она, как могла, оделась и разбудила весь замок. Затем она побежала вниз в канцелярию, собрала народ и заявила, что она знает, кто поджег Еглисвиль, и назвала меня. После совершения поджога я хотел скрыться у нее в комнате, — так она меня ненавидела. Тогда они пришли наверх. Я все еще стоял у окна, следил за разгоравшимся заревом и радовался. — Тут они меня забрали и отвели на замковый двор. Мария была при этом. Правда, она не смеялась, но почему — я не знаю».

Мы подошли к месту обвала. На склоне противоположной горы лежал замок Вильдек, залитый мягкими лучами заходящего солнца. Стекла горели тысячами огней. Мой отец без сомнения охотно отправил бы меня прочь во время рассказа арестанта, но дорога не представила для этого благоприятного повода. Теперь арестант выпрямил свою костлявую фигуру и опустил трубу на лужайку. — Возможно, что отец думал, что я ничего не понимаю из слов арестанта. Действительно, я все понял только гораздо позднее. Арестант тогда, вероятно уже давно был на свободе.

Рабби Эзра

«Мойша, Мойша, ты не нравишься мне. Почему ты хочешь обручиться на двадцатом году, а жениться только на двадцать пятом?» — Старый Эзра посмотрел в самые зрачки своего сына, как будто там он надеялся найти разгадку этого вопроса.

«Я люблю Ревекку».

«Ты любишь Ревекку? Откуда ты знаешь, что ты любишь Ревекку? Я поверю тебе, что ты любишь маленькие ножки, белую кожу, хорошенькое личико, но откуда ты знаешь, что это — Ревекка? Ты изучил римское право и христианское право, но ты не изучил женщин. Для того-ли я тебя так заботливо воспитывал, чтобы ты начал свою жизнь какой-нибудь глупостью? Сколько женщин ты знал, Мойша, что можешь прийти к твоему старому отцу и сказать: ты любишь?»

«Я знаю только одну и ее я люблю всем сердцем».

«Ты говоришь всем сердцем? Знаешь-ли ты свое сердце?»

«Прошу тебя, дорогой отец, не смейся над мои-

ми чувствами».

«Мойша, Мойша, не сердись на меня. Я говорю тебе, не сердись на твоего старого отца. Позволь рассказать тебе одну историю. Сядь сюда на диван рядом со мной. Я расскажу тебе о моем отце, что он мне сказал, когда мне было двадцать лет. Эзра, сказал он, когда будешь жениться, выбирай богатую жену. Поверь твоему старому отцу, что женщины изменчивы, но вот эти светлые талеры, они могут держаться долго! — Я подумал: мой отец старый человек, и поклялся ему, что за своей женой я получу тридцать тысяч талеров. Но я хочу объяснить тебе, Мойша, почему я любил ее, почему я женился на ней, на маленькой Лии, почему я в печали жил с нею, пока она не исчезла, как снег, тающий в руках. Потому что я не знал женщин, потому что я не знал Эзры, меня самого. — «Мойша, я уже стар, мне больше ничего не нужно на этом свете, я хочу только, чтобы ты был счастлив. Но на двадцатом году, тогда во мне все копошилось, как в курятнике на восходе солнца. И когда я проходил по улицам и видел христианских девушек и нашего племени, тогда я чувствовал их в кончиках пальцев и жалел, что я не царь Соломон, у которого было тысяча жен. Я мечтал о ней, она должна бы быть венцом

творения Господа, со всеми совершенствами, которые может иметь женщина. Когда она была маленькой, и бледной, и худенькой, и живой, как крыса, тогда я закрывался от нее зонтиком, так как моим глазам было больно смотреть на нее. Но когда она была, как кедр на Ливанских горах, тогда я склонял зонтик в другую сторону и брал ее образ с собой в дом и видел его в строчках Талмуда и в священных словах я слышал звук ее ножек. А ночью ее образ приходил ко мне и наполнял мои сны, он стоял передо мной. — О всемогущий Творец, как перед Моисеем, имя которого ты носишь, — обетованная страна. Если бы я обнял его наяву, я увидел бы реки молока и меда и не пошел бы через Иордан против воли Господа.

«Но я сказал себе — Мойша, подумай, что я сказал себе! Вот, сказал я, ты дитя дьявола, от чрева матери ты был им. Если ты уступишь своим страстям, если ты пойдешь через Иордан, тебя постигнет гнев Господа и ты будешь сыном смерти. Ты не должен идти к женщинам, которые возбуждают твои чувства, но к женщинам, которые нравятся твоему сердцу, иначе твое тело сделается, как тело Иова, и будет проклято дело твоих дней и ночей, и ты будешь питаться травой подобно Навуходоносору.

«Тогда я отправился к старому Гезекилю и сказал ему, чтобы он отдал за меня свою дочь Лию, и поклялся ему, что всегда буду ее любить. Лия была девушкой, подобной тени на оконных стеклах, ее можно было носить, как абажур от лампы, но я любил ее, так как я думал, что она спасет меня от меня самого, от дьявола и проклятия, которое я всегда чувствовал над своим изголовьем. Вначале она не хотела иметь меня мужем, так как я был высокого роста и широкоплеч, а она маленькая и худенькая, и она стыдилась ходить со мной по улицам. Но так как не пришел никто другой, она взяла меня.

«Теперь, Мойша, выслушай от твоего старого отца, как немощно наше сознание и как слаб наш разум. Как и ты, я еще не знал до брака сладостей любви; я был еще чист, как роса на Гедронских высотах, как ты теперь, хотя ты уже изучал римское право и христианское право и забросил Моисея и пророков. Но когда я с Лией вкусил сладостей любви, я узнал, что любовь есть преступление перед Господом, и благодарил Господа, что он, дав мне жену, удержал меня от пути нечестивых. Не мечтал-ли я бессонными ночами, что любовь наполнить мое тело усладой, но тут, и мне и Лие, она была, как лекарство больному.

Как лекарство, мы и принимали ее, с закрытыми глазами, с чувством отвращения, и не больше, чем это было прописано врачом. Вкусив-же ее, мы чувствовали себя проклятыми Богом и расходились, как воры ночью, заставшие себя на дьявольском деле. И я сказал себе: ты был прав, Эзра, плотская любовь служба сатане, и человек не должен ей предаваться. Но, Мойша, поверь твоему старому отцу: я не был счастлив.

«… Я не был счастлив, Мойша, мой сын, да будет Бог мне свидетелем! Я столько-же мог говорить с моей Лией, как я могу говорить с моей вешалкой или с моими ногтями. Ее мысли не были мои мысли, так как мои мысли оставались мои мысли, а она не имела никаких. Тогда я обратился к уединению, и уединение было разговорчивее, чем моя Лия, и я сказал себе: Эзра, сказал я себе, ты ошибся в выборе, неси теперь один всю ответственность. Ты мог бы прежде испытать, сказал я себе, подходит-ли ее дух к твоему духу, есть-ли ее сердце брат твоего сердца. Но смотри, не дай ей заметить, что ты сделал неправильный выбор, так как она невинна, как ягненок, идущий к водопою. Почему ты не подыскивал себе жену с таким-же вниманием и старанием, с каким ты покупаешь в лавке новый галстук.

«И так я прожил с ней два года в молчании и в терпении и всегда любил мою маленькую Лию, так как она защитила меня от соблазнов плоти. И подошло время, когда она должна была подарить мне маленького сынишку, но не смогла его вместить, и Господу Богу было угодно взять ее от меня вместе с моим ребенком.

«Мойша, тогда мне показалось, что кто-то взял раскаленное железо и выжег мне все внутренности, что вся земля вымерла и сгорела, что остался один я, проклятый и забытый Богом. Тогда я возмутился против Иеговы и богохульствовал: Да будет проклято имя Твое! Почему ты отнял от меня жену, которую я сам избрал для служения тебе! Ослеплен-ли ты безумием, что повергаешь в прах твоего верного раба и щадишь твоих врагов! Почему ты не берешь ягненка от богача, а обязательно должен взять его от последнего бедняка, для которого это было его последним достоянием! Да будет проклято имя Твое! Ты подвергаешь меня новым соблазнам, Ты толкаешь меня на путь преступления и порока, Ты снова отдаешь меня в руки нечестивых, после того как я с таким трудом спас свою душу от Твоего гнева! Да будет проклято имя Твое! Да будет оно проклято! На Твою главу моя погибель! И тогда я направился

для утоления своей скорби к дочерям пустыни. Знай, Мойша, я пошел к дочерям пустыни. Мой сын, я не хочу сказать, что и ты должен идти к дочерям пустыни. Делай, как знаешь. Но я, твой отец Эзра, я был у дочерей пустыни. И когда я пошел, я проклинал Иегову: Ты, Господь, виновен в том, что я иду для утоления моей скорби к дочерям пустыни! Почему ты взял от меня мою Лию!

«А теперь, Мойша, открой шире уши и слушай внимательно. Я имел христианских девушек, я имел еврейских девушек, я имел также дочерей Хама. Я не искал, что нравилось моему сердцу, я искал, что нравилось моим чувствам, так как я пришел, чтобы погасить мою скорбь, чтобы забыть мою Лию. Я искал тех, которые были, как недра на Ливанских горах, я искал тех, которые владели всеми женскими совершенствами. И я нашел, что чем больше они отвечали моим чувствам, тем понятнее я мог говорить с ними, тем понятнее они говорили со мной, тем радостнее они приходили, тем желаннее они были для моего сердца. И я увидел, мой сын, что чем больше они отвечали моим чувствам, тем менее я ощущал порок, тем легче становилось у меня на душе, тем ближе я чувствовал себя к Всемогущему. Мойша, если ты мне предложишь полмиллиона, я не

променяю на него этого сознания. Я не продам его, так как это сознание постоянно приносит проценты, двадцать процентов, тридцать процентов, сто процентов, а проценты дадут новые проценты и проценты на проценты. С пол миллионом можно быть несчастным, но нельзя быть несчастным с сознанием, что плотская любовь не есть служба дьяволу, что человек должен идти по путям, указанным ему Господом, создавшим двух людей друг для друга в мыслях и в желаниях, телом и душой.

«И пошел я прочь, пал ниц на землю и, бил себя в грудь, взывал к Господу: Господь, Господь, я не расслышал твоего тайного совета. Ты ослепляешь мудрых и заставляешь их при свете солнца бродить, как в потемках, и день превращаешь им в ночь! И тогда, Мойша, я пошел и стал искать себе жену всеми своими чувствами. И я нашел Сару, дочь Мардохая, прекрасную, как новорожденная земля, и она стала твоею матерью. Я испытал ее сердце и нашел, что оно есть брат моего сердца. И в брачную ночь, Мойша, мой сын, в ту ночь, которая дала тебе жизнь, я узнал, что ее плоть была близнецом моей плоти; и я славословил Господа, пути которого никогда не лгут и мудрость которого в его творениях».

Рабби Эзра вытер со лба пот и тяжело вздохнул. Моисей с опущенной головой тихо вышел из комнаты.

Княгиня Русалка

«Тебя удивляет, как я могла стать социал-демократкой и выйти замуж за вождя социалистов?» — спросила молодая княгиня Русалка, разговаривая со своей подругой молодой баронессой Госнварт, — «Причина заключается в том, что мой первый брак с герцогом Галлиера остался бездетным.»

«Но разве это причина?» — возразила краснея, баронесса.

— «Может быть, в этом виновато мое детство», ответила княгиня. «Попробую рассказать тебе о нем».

Уже ребенком я много о себе воображала. Для меня во всем мире не было ничего более высокого, чем я сама. Я смотрела на себя в зеркало, как на какую-то святыню. Я была весела и самонадеянно смела, но по поводу известных вещей я не выносила никаких шуток. Против этого возмущалась моя внутренняя гордость, как возмущается красивая лошадь при виде безобразного животного. Это привело к моему несчастью.

Когда моя сестра Амалия однажды заговорила

о том, как происходят люди, я готова была ее задушить. Я была очень набожной и часто часами разговаривала in persona с Богом. Я была непоколебимо уверена, что меня создал сам Бог. Я думала: в том, что делают люди, нет души.

Амалия и я росли в замке Шварценек в Богемии, вдали от всего света. С нами были только старый престарый управляющий дома и совершенно безжизненная гувернантка. Я удивляюсь, как Амалия дошла до своей мудрости. Она была на два года старше меня, толста, флегматична и ленива. Однажды она рассказала, что дочь деревенского мельника родила ребенка. Я была взбешена и ответила, что это невозможно. Наши родители обвенчались в церкви, потому Бог дал им детей, а не потому что они первые годы своего брака жили вместе.

Мне казалось, что Амалия хочет лишить меня всякой возможности к существованию. Ночью я умоляла Бога, чтобы он доказал, что права я, а не Амалия; я ясно слышала, как внутренний голос сказал: ты права, Русалка. — Когда на другой день моя сестра снова выступила со своими рассуждениями из области естественных наук, тогда я поклялась ей всем святым на свете доказать, что в этом мире совершенно не бывает внебрачных

детей.

Амалия смеялась, но я говорила совершенно серьезно и с того времени я думала день и ночь, как бы выполнить свое намерение.

На Рождество из Вены на охоту приехал отец со всей своей компанией. В тот раз с ним приехал герцог фон Галлиера. Тогда мне было шестнадцать лет. В первый же день я выбрала его своим кавалером. Ему было двадцать восемь лет, он был очень изящен и внимателен; он самым лучшим образом облегчил мне воплощение моего сумасшедшего плана.

Амалия с молодым лейтенантом из Будапешта всегда старалась держаться неподалеку от нас. Но через три дня она за мной не уследила и произошло то, что должно было произойти. В тот же вечер я рассказала ей об этом. Она страшно побледнела и упала в обморок. Затем она начала плакать и прорыдала всю ночь, била себя в грудь, рвала на себе волосы, я делала все возможное, чтобы ее утешить. Конечно, все мои старания мало помогали, но я была так уверена в своей правоте, что в конце концов она склонилась передо мной, как перед высшим существом и обняла мои колени.

После Нового Года шумная орава снова уехала.

Сделав Амалию свидетельницей моего сумасшедшего поступка, я не удостоила герцога больше ни одним взглядом. Он с достоинством скромности принял предложенную ему отставку.

Потом наступила весна, и временами на меня нападал страх. Я умоляла Бога, чтобы он укрепил мою веру. Когда я вспоминала о Рождестве и о герцоге, в душе у меня всегда возникало сомнение; но у меня не было ни малейшего повода к этому. Наконец, в один из сентябрьских вечеров, сидя на балконе, я сказала своей сестре: теперь, ты видишь, кто прав. Поэтому не приставай ко мне в будущем с твоими рассуждениями. И действительно она никогда больше ничего не говорила.

Но на святках, когда герцог снова приехал на охоту с моим отцом, во мне проснулись новые чувства, которых я до тех пор еще не знала. Отец застал нас врасплох, и герцог попросил моей руки.

Медовый месяц мы провели в Неаполе. Я была очень, очень счастлива. Затем мы переехали в замок Егерсдорф в Моравии, чтобы, пока нам не надоест, в дали от общества наслаждаться нашим счастьем. Я мечтала о ребенке, как об этом только может мечтать молодая женщина. Мне казалось невозможным, чтобы я теперь могла быть

лишена этого счастья. В течении первого года я говорила о нем так уверенно, как говорят о снеге или о весне. Но его не было. Целые ночи я простаивала на коленях в горячей молитве; обливаясь слезами я заклинала Бога, чтобы он лучше убил меня, чем лишил наш брак своего благословения. Но ничто не помогало. Герцог начал странно на меня посматривать. Я замечала, как остывала его любовь. Мы надоедали друг другу.

К этому времени из Вены приехала моя кузина графиня Телеки. Герцог считал ее ужасной женщиной, но мне она открыла совершенно новый мир. Она перечитала все, что было написано в Европе: Ибсена, Толстого, Золя, Достоевского, Ницше, Зудермана; она напоминала ходячую библиотеку. За шесть месяцев она сделала из меня настолько-же фанатичную атеистку, насколько я прежде была набожной католичкой. И когда во мне не осталось больше ни следа, ни соломинки от прежней веры, от того, что могло бы поддержать меня в минуту несчастья, я узнала, что за это время она покорила моего супруга и уже носила под сердцем его ребенка.

В бессознательном состоянии я была доставлена в Вену. Неделю я пролежала в лихорадке. После выздоровления я поехала к моему отцу,

чтобы попросить его похлопотать о разводе. При слове «развод» он указал мне на дверь. Я поехала в Берлин, чтобы обратиться к помощи адвоката, но с первых-же шагов, в какое бы общество я не являлась, я везде встречала людей, родственных по духу графине Телеки. Я стала казаться сама себе, кем-то случайно позабытым остатком средневековья. Меня охватила страсть к современному. Я остригла свои роскошные волосы, не носила больше корсета, являлась в мужском костюме на вечера художниц и писала о женском вопросе. Не прошло года, как я начала выступать на публичных собраниях.

На премьере «Гедда Габлер» я познакомилась с Dr. Раппартом. Несколько дней спустя я слышала его на одном собраний социал-демократов. Затем он пришел ко мне. Первым делом он во имя моей женственности, во имя высокого призвания женщины, созданной для счастья мужчины, начал умолять меня отказаться от этой беспорядочной жизни. Он утверждал, что я поступаю против своей природы; некоторых это может удовлетворять, но не меня. В начале, отстаивая наше дело, я пыталась ему возражать, но он так безошибочно понял меня, что я чувствовала себя, как ребенок, которому делают выговор за его шалости.

Во время третьего визита он попросил меня быть его женой. Несмотря на то, что я научилась его любить, я дала ему отставку. Но куда бы я не приходила, везде я слышала о нем. Весь Берлин увлекался им, народным трибуном, будущим государственным деятелем. Во время одного парада под Липами я видела, как многотысячная толпа народа приветствовала его. Я слышала, как рабочие рассуждали между собой, что для этого человека в жизни нет ничего более дорогого, чем его высокая миссия, и я знала, что для него еще было самым дорогим. Но у меня не было больше мужества; я чувствовала, что мне не суждено изведать счастья, так как я сомневалась, могу-ли я быть матерью.

Затем наступили ужаснейшие дни, которые я когда-либо пережила. Я решила умереть и приняла морфий. Меня отвезли в клинику. Когда я пришла в сознание, я закричала от боли, поняв, что все было напрасно. Но он стоял рядом и склонился надо мною. Врачи оставили нас одних, и тогда тогда, как ветром, сдуло мои последние силы, я заплакала и припав к его груди рассказала ему обо всем. Я умоляла его разрешить мне уехать, но он ни на один день не оставил меня одной. Чтобы утешить меня, он рассказывал в то

время такие вещи, в которые он сам не верил. И в конце концов я поняла, что, если для меня в этом мире еще возможно счастье, то только с ним.

Я обвила руками его шею и подставила лицо его поцелуям, хотя мне и казалось, что я себя бесконечно унижаю.

Мы обвенчались; он настоял также на церковном венчании. Я его хорошо понимала, но не решалась возражать ни слова. А теперь…»

Княгиня быстро поднялась, прошла в соседнюю комнату и вынула из колыбели маленького, розового, голубоглазого социал-демократа, который уже мерил серьезными взглядами молодую баронессу, тоже поднявшуюся со своего места.

«Теперь пойми мое счастье!»

Баронесса улыбнулась.

Жертва искупления

«Прошу тебя, не спрашивай, как я дошла до такого положения. Разве тебя это может интересовать? Завтра ты будешь смеяться надо мной; я знаю это. Ты доведешь меня до слез. Не лучше-ли для тебя, если я весела».

И белокожая, изящная и красиво-сложенная баварка с густыми, иссиня-черными волосами, дрожа, склонилась к нему и поцеловала его в губы, в полузакрытые глаза, стараясь отвлечь его от прежних мыслей. Но ничего не помогало. Он скорчил брезгливую гримасу, которая наполнила все ее существо холодом. Он избегал ее ласк, отталкивал ее. Он сделал ее совершенно беспомощной, так как в этом мире ее собственностью было только ее тело, и больше она ничего не имела.

Он-же был человеком, не обуреваемым страстями, но тонким гурманом, для которого природа и Бог не могли создать ничего вполне удовлетворительного. Во всем он хотел чувствовать особый пряный привкус. С ранних лет он узнал все прелести жизни и теперь до глубины души презирал

наслаждения, доступные для простых смертных. Его не удовлетворяло, что лишенная человеческого достоинства, красивая девушка так просто и легко грешила, отдаваясь его вожделению. Он хотел втолковать ей смысл того, что она делала, и затем насладиться последним, тихим страданием бедной, потерянной души. Поэтому она ни словами, ни взглядами не могла вызвать его улыбки. Он принял на себя роль проповедника и прямо спросил, не довёл-ли ее до этого голод.

«Нет, нет, насколько я помню, я всегда питалась хорошо. У нас дома три раза в неделю подавалось мясо».

Он предполагал это. При взгляде на нее никому не могла прийти мысль, что она когда-нибудь голодала.

«Но тебя преследовали тяжелые, мучительные сны? Ты пришла сюда, чтобы наслаждаться своею молодостью?»

«Нет. Но, ради Бога, не спрашивай меня больше. Ты сам из Цюриха или ты здесь только проездом?»

«Проездом. Твои родители еще живы?»

«Да. Но они не знают, где я»

«Не знают, что ты в Цюрихе?»

«Нет. Они ничего обо мне не знают».

«Как твое имя?»

«Марта».

«Марта? Так, так. В этом мире много Март. Я уже знал прежде, что твое имя Марта».

«Если ты будешь когда-нибудь писать, то пиши просто: «Марта». Ты можешь быть уверен, что я получу каждое письмо. Все мои друзья пишут мне «Марта».

«А твоя фамилия?»

«Я не скажу ее, если ты даже приставишь к горлу нож. Я допущу скорее убить себя, чем произнесу здесь имя своего отца».

«Как ты попала сюда?»

«Я расскажу тебе это в другой раз. Только не сегодня. Прошу тебя».

«По всей вероятности дома было много работы? Ты должна была рано вставать и чистить лестницу?»

«Я всегда работала с удовольствием».

«Правда? Поздравляю. Здесь-же по крайней мере все-таки приятнее.»

«Зачем ты говоришь так. — Я расскажу, что привело меня сюда. Мне кажется, ты жалеешь меня. Другие мужчины хотят слышать всегда одни комплименты и, если им не говорить приятных вещей, заставляют молчать. Видит Бог, я

еще никому об этом не рассказывала, но день и ночь я ни о чем другом не думаю. Меня утешает только мысль, что такая жизнь не может долго продолжаться. Тогда все будет покончено и позабыто». «Веришь-ли ты в загробную жизнь?»

«Может быть для богатых и добрых людей существует загробная жизнь, но только не для нашего брата. Иначе бы это было ужасно!»

Молодая девушка еще раз посмотрела ему в самые глаза, так как она не была вполне уверена, не высмеет ли он ее откровенность. Затем она погасила лампу и начала рассказывать:

«В четырнадцать лет моя мать отдала меня в ученье. У меня еще не было ни талии, ни фигуры, мои глаза были большие, как у теленка. Нас было четыре ученицы, Рези, Цили, Кати и я. Уже в понедельник мы начинали считать дни до воскресенья. По воскресеньям мы ходили друг к другу в гости, пили кофе и гуляли в английском парке. Бывал-ли ты в английском парке в Мюнхене?»

«Да. Я катался там на коньках с моей крошкой».

«Об этом ты мог бы не говорить».

«О чем-же болтали вы, гуляя по парку?»

«Чаще всего о нашей мастерице. Она была так

опытна, что мы считали ее за высшее создание. Когда приходила новая дама, она, кинув один взгляд, вырезала на коленях готовую выкройку. Казалось, что она рисует ножницами».

«Вы не говорили больше ни о чем?»

«Нет, почему-же? Каждая из нас рассказывала про своих домашних. У Цили был маленький брат, для которого она шила костюмчики. Он ходил в школу. Иногда она помогала ему делать уроки. Ты не поверишь, как она им гордилась. Теперь в моем одиночестве я часто думаю о том, как хорошо было бы иметь ребенка и при этом я всегда вспоминаю маленького Ганса. Он был такой хорошенький».

«Только не плачь».

«Я не плачу. Я только думаю, как я прежде боялась этого, так теперь я была бы счастлива, у меня было бы по крайней мере хоть что-нибудь дорогое».

«Но ты бы только испортила ребенка!»

«Да, ты прав. Я избаловала бы его. Я бы его так страшно любила. Ему жилось бы лучше, чем другим детям».

«Ты его любишь еще до сих пор?»

«Да. Ты такой хороший. Тебе я расскажу все».

«Как ты с ним познакомилась?»

«Это было в один из зимних вечеров. Я два года была в ученицах. Я уже носила длинные платья. Когда я проходила по улице без шляпы в белом переднике, мужчины, смотря на меня, облизывались. Я смеялась, так как это льстило моему самолюбию; другого я ничего не думала. Однажды вечером директриса послала меня с платьем для баронессы Убра на Швабингском шоссе. В трамвай я не попала, так как он был переполнен. Было очень холодно, и ледяной ветер срывал с крыш черепицы. Прохожие шли, закутавшись в теплые плащи, только на мне была легкая жакетка с большими пуговицами и шляпа с пером, которую я все время должна была придерживать, чтобы она не слетела с головы. Уже на Театинской улице я проклинала день своего рождения. Руки и ноги у меня совершенно обледенели, и на каждом шагу я на что-нибудь наталкивалась. О фонарный столб я сломала свой зонтик, и ветер разорвал его в клочки. Снег проникал под платье и холодными струйками сбегал вдоль спины. С ног до головы я была мокрой, как собака выгнанная в ненастье на улицу.

У Дома полководцев ремень, на котором я несла коробку, оборвался и платье выпало в снег. Я готова была провалиться сквозь землю. Я подняла

платье и носовым платком счистила с бумаги снег, чтобы он не проник внутрь. Я хотела взять коробку под мышку, но налетел порыв ветра и подбросил мои юбки выше колен. Боже мой, Боже мой, подумала я, если бы кто-нибудь видел.

Тут-же ко мне подошел какой-то господин и спросил, не может-ли он поднести для меня коробки, я ответила: да. Вдвоем мы прошли до Швабингского шоссе, затем он проводил меня домой на Зендлингскую улицу. Он рассказал мне, что служить в конторе и на свое жалованье содержит шестидесяти летнюю мать. Я тоже сказала, где я работаю. Я ни разу не взглянула на него и никогда бы не узнала его в другой раз. Но на следующий день, когда я вышла из мастерской и простилась со своими подругами, он снова стоял передо мной. Я не могла прогнать его, так как он обращался со мной так приветливо-дружески. С этого и началось.

Каждый вечер он провожал меня до дома и рассказывал, как он любит и ухаживает за своей матерью. Весною он однажды сказал мне, что он меня любит. Вначале я не поверила ему. Но целый месяц он говорил только об этом, затем он спросил, люблю-ли я его, я ответила: да. С этого дня началось что-то ужасное. До сих пор он был

всегда так обходителен и мягок, теперь-же он совершенно изменился. Он утверждал, что я не люблю его. Я клялась в этом спасением своей души! Я говорила правду. Целый день за работой я думала только о том, как он будет выглядеть, когда он меня встретит. Но его лицо уже было не прежнее. Он шел с опущенными в землю глазами, как будто он чем-то подавился, и за все время не произносил ни слова.

Прежде он иногда целовал меня на прощанье. Теперь же он не делал и этого. Я просила его, но он не хотел. Он называл меня кокеткой. Я сперва перепугалась; я не знала значения этого слова. В начале я никак не могла его запомнить. Но затем я записала его на бумажку и спросила Цили, что оно значить. Цили ответила, что так называются девушки, которые ночью ходят по улицам.

Мать спрашивала меня, почему я так плохо выгляжу, ничего не ем и все время молчу. Но я не могла сказать причины. Я решила только тогда рассказать о нем дома, когда мы обвенчаемся. Пока мы не могли жениться, так как нам не хватило бы его жалованья. Мы должны были ждать смерти его матери. Когда он однажды в гневе повернулся ко мне спиной и, положив руки в карманы, пошел прочь, я побежала за ним, бро-

силась ему на шею и уверяла, что я его люблю он должен был это видеть. Почему он переменился ко мне, я не сделала ему ничего плохого, он не должен меня так жестоко мучить.

Тогда он пробормотал: докажи, что ты меня любишь. Я спросила, чем я должна доказать; он ответил: я сама отлично знаю, так как я больше не ребенок. Но я кокетка и играю с ним; ему довольно этого, он не хочет оставлять себя в дураках.

Всю ночь я не могла спать и думала, чем я его обидела. Так как он сам не хотел мне объяснить причины, я решила спросить об этом Цили. Но я не хотела рассказывать ей всю историю. Никто ничего не знал о нашем знакомстве, и я хотела, чтобы до самого обручения оно оставалось в тайне. О своей матери он рассказывал, что однажды ее здоровье очень пошатнулось, но затем она снова начала поправляться.

После обеда, гуляя с Цили под руку, я спросила ее, приходилось ли ей когда-нибудь любить, Подумав немного, она ответила: да. Я спросила, что она при этом делала. Она ответила, что мыла ноги в горячей воде. Помогало-ли это? Да, ответила она. Делала ли она еще что-нибудь. Нет, больше ничего. — Я хотела расспросить ее о подробностях ее любви, но она засмеялась и сказала, что это

частное дело.

Вечером, когда он меня провожал, я сказала, что теперь я знаю, Цили объяснила мне все, он должен подождать до завтра. И так завтра, сказал он и поцеловал меня на прощанье. Весь вечерь я дрожала в страхе, чтобы мать ничего не заметила. Если бы все расстроилось! Когда они заснули, я в одной рубашке пробралась в кухню. В печке еще был огонь. Я налила полный котел и забралась в него с ногами. Во мне проснулись какие-то новые ощущения. Ты не поверишь, но я дрожала и тряслась от радости и думала только о нем, о том, что он скажет, когда увидит мое превращение. Тихонько я пробралась обратно в кровать и заснула так сладко, как никогда в жизни.

Но на другой день меня ждало страшное разочарование. Сперва мы крепко обнялись и поцеловались, так что я чуть было не заплакала от счастья, затем он пригласил меня к себе, но я ответила: он, ведь, знает, что я должна спешить домой. Тогда он назвал меня глупым животным.

Это заставило меня в ближайшее воскресенье отправиться к гадалке. Как и Цили, я не хотела рассказывать ей о нашей любви, но в пять минут она сумела из меня все выведать. Тогда она сказала, я должна идти с ним и разрешить ему все, что

он будет делать; этим я докажу ему свою любовь. Я спросила, что стоит ее совет, и она спросила, сколько у меня с собой денег. Я ответила: двенадцать марок и пятьдесят пфеннигов. Прекрасно, сказала она, обыкновенно я беру двадцать, но с меня она удовольствуется и тем, что я имею. Она просила заходить к ней в другой раз.

На следующий вечер я одетой легла в постель. Я сняла только башмаки. Когда пробило одиннадцать, я осторожно спустилась вниз. Он ждал меня у входа, обнял и поцеловал, и мы пошли к нему на квартиру.

Через час он провожал меня обратно; честное слово, я не могла понять, почему он был так счастлив. Я думала: мужчина испытывает особое наслаждение, если он убедится, что его любит девушка.

С того времени я стала его любовницей. Уже через неделю он сказал: если ты меня действительно любишь, ты не должна оставаться у твоих родителей. Если мясники поймают меня у входа, мне будет плохо.

Ночью я вынесла свои вещи. На другой день в мастерской я сказала, что у меня болит голова и пошла искать комнату. Я нашла комнату с кроватью и двумя стульями. Вечером я не вернулась

домой.

В воскресенье пришел мой отец. Он спросил, работаю ли я в мастерской. Я ответила: да. Затем он спросил, кто мой любовник. Я ответила: бей меня, сколько хочешь, я никогда не скажу, тебе этого. Он сказал, что он позовет полицию. Я заявила, что я не боюсь ни полиции, никого угодно. Тогда он упал на кровать и зарыдал; мне казалось, что в нем все переворачивается. Затем он встал, посмотрел мне в глаза, дал мне пощечину и ушел.

С тех пор я его больше не видела.

Мой любовник приходил ко мне каждый вечер. Здоровье его матери ухудшилось, поэтому он отказался от своей квартиры, чтобы иметь деньги на лекарства и врача. Иногда, когда ему не хватало, я давала ему из своих, но у меня было немного, так как каждый вечер я должна была готовить ужин для нас обоих.

Вначале он хотел познакомить меня со своею матерью, но затем отказался от своего намерения. Она была так слаба. Он боялся, что радость и волнение убьют ее на месте.

Однажды, когда ушла мастерица, Рези и Цили заговорили о девушке, у которой родился ребенок. Я спросила, разве она не была замужем. Они сказали: нет. Тогда меня охватил ужас, мне

сделалось дурно, и я ушла домой. Я проплакала до самого вечера. Я никогда не предполагала, что можно иметь ребенка, не будучи замужем. Когда я сказала ему об этом, он назвал меня дурой и заявил, что у нас ничего не может быть. Но с того дня я не могла ни на минуту успокоиться.

Его принципал послал его сюда в Цюрих. Когда мы сидели в поезде, в купе вошла какая-то девушка. Сперва она села в противоположный угол, но, заметив моего любовника, метнула на него огненный взгляд и пересела напротив. Она рассказала, что получила место кельнерши. Она была так затянута в корсет, что даже у меня не хватало дыхания. Ее ноги ни минуты не могли оставаться в покое, она обмахивалась платком, от которого пахло, как из зверинца. Ее глаза готовы были выскочить на лоб. Она обменивалась таинственными взглядами с моим любовником, но я не понимала их значения. Иногда она смотрела на меня и тогда мне становилось страшно стыдно. На мне было старое, выцветшее платье, на голове серый платок, а ноги я старательно прятала под скамьей, так как башмаки были спереди порваны. На ней-же были светло-желтые, совершенно новые ботинки на шнурках с золотыми пуговками. Ее платье было так узко,

что ясно обрисовывались контуры ее колен. На коленях она держала ридикюль с конфетами и флаконом вишневой воды. Она предложила мне попробовать.

Я не хотела, но мой любовник сказал, что я не должна отказываться. Недалеко от Линдау, когда поезд внезапно остановился, так как у локомотива нагрелась ось, она почти упала ему на шею.

На пароходе со мной началась морская болезнь и я не помню, как мы приехали в Цюрих.

Уже на другой день он отправился с ней на концерт и не вернулся домой. Утром я пошла на поиски, когда я возвратилась, его вещей уже не было. Я возобновила поиски по всему городу. На одном углу мне показалось, что он промелькнул в толпе. Наконец я нашла его на набережной. Я потребовала, чтобы он вернулся ко мне. Он ответил, что в Цюрихе мы не можем жить вместе: полиция не допускает этого. Нас арестуют, так как мы не муж и жена. Но он обещал по возможности приходить ко мне.

За первые четырнадцать дней у него только три раза нашлось для этого время. В магазине белья я раздобыла себе работу и целый день сидела дома и шила. Когда он был у меня в третий раз, я спросила, где он живет, но он не назвал мне

своего адреса. Мысль о нем часто выгоняла меня из дому, и я часами блуждала по городу, решив без него больше не возвращаться домой.

Однажды вечером я столкнулась с ним, когда он выходил из одного шикарного ресторана. Я бросила ему прямо в лицо: «Ты живешь с кельнершей». Он ответил: «Тебя это не касается». Тогда я спросила: «Любишь-ли ты меня по-прежнему?» Он ответил: «Как я могу тебя любить, если я не бываю у тебя?» Сначала я не поняла его и переспросила. Он снова повторил: «Как я могу любить тебя, если мы не живем вместе».

У меня перед глазами пошли зеленые и синие круги. Закрыв лицо руками, я убежала от него, как сумасшедшая. Я сперва должна была все обдумать. Что он понимал под любовью, утверждая, что он не может меня любить, так как мы не живем вместе. Я знала, что несмотря на это я продолжала его любить. Я была так счастлива его любовью, для меня во всем мире существовал только он, и больше никто. Я любила его прежде и продолжала любить, и готова была всю свою жизнь работать на него. Он же мог любить, только когда бывал у меня. Я уже не была наивным ребенком, я тоже умела ценить прелести совместной жизни. Внезапно пришла мысль, что он

с самого начала не хотел ничего иного. Тогда я побежала к озеру и хотела утопиться. Но этого мне было мало. У меня так болело в груди, что смерть казалось мне слишком легким и слабым избавлением. Я блуждала по улицам, стараясь найти кого-нибудь, кто бы измучил меня до беспамятства. Я чувствовала, что если меня будут пинать ногами, тогда моя боль утихнет. Я хотела, чтобы меня глубоко и позорно оскорбили, обесчестили, чтобы я не чувствовала больше когтей, которые впивались в мое сердце. Я долго думала об этом. Подошел какой-то господин и погладил мои волосы. Я пошла бы с ним, но он был для меня слишком любезен и приличен. На нем были лайковые перчатки, и мне казалось, что он хочет меня спасти. Но я не хотела; я хотела в самую бездну, в самую грязь, чтобы ничего не видеть и не слышать. Я хотела пасть так низко, чтобы больше не чувствовать своего несчастья. Мой любовник рассказывал мне, что в Цюрихе есть женщины, которые торгуют девушками, пока не высосут из них последней капли крови. Я спросила на одном углу полицейского, где я найду такую женщину. Он спросил меня, была-ли я там, и я ответила: да. Тогда он взял меня за руку и отвел в участок. Там сидел господин с красным лицом, черными уса-

ми и в синих очках; он снова спросил меня, была ли я уже в том месте. Я ответила утвердительно. Он спросил, где это было. Я показала пальцем в пространство и сказала, что я приезжая, вышла сегодня в первый раз и заблудилась. Он дал мне двух полицейских, которые и привели меня в этот дом. Таким образом я попала сюда…» «Здесь тебе, вероятно, живется хорошо?»

«Вначале хозяйка была недовольна моим мрачным видом. Но когда она заметила, что самые противные из наших гостей всегда уходили со мной, и я ни одному из них не отказала, она стала относиться ко мне также хорошо, как и к веселой и ловкой Пальмире, которая живет вместе со мной».

Когда он вышел из этого дома, было воскресное утро. Звонили колокола. Мужчины, женщины и дети возвращались из церкви. Он с удовольствием отпустил бы какую-нибудь остроту, но что-то в его настроении ему помешало. Никогда он не чувствовал себя таким ничтожным, но и никогда он не казался себе таким добрым. Он не узнавал себя. Он сравнил беззаботное, праздничное настроение прохожих, довольных хорошей проповедью и уже заранее вкушавших лакомый обед, с серьезным настроением в своей собствен-

ной душе и без всякого жеманства или кокетства сознался, что он им не завидует.

Вчера вечером он надел на себя маску исповедника. Теперь же ему казалось, что он сам попал на место исповедовавшегося: Он уверовал в невинность в том месте, где он никогда не думал ее найти. Когда он думал об этой девушке, он презирал себя. Она никогда не хотела ничего плохого и вытянула черный жребий. Он никогда в своей жизни не стремился к добру, но он чувствовал, что он еще не окончательно пал. Это сознание осталось за ним на всю жизнь.

Любовь с первого взгляда

«Но вы меня совершенно не знаете. Ваше предложение для меня оскорбительно. Вы видели меня только раз в обществе, узнали, кто я, и на другой день приходите и просите моей руки. Моего отца считают миллионером. Порой мне хочется, чтобы этого не было. Тогда бы я могла гордится собой и тем поклонением, которое мне воздается».

Молодая девушка опустила глаза к полу, сознавая, что сказала что-то обидное. Но слова сами вырвались у нее, так как, хотя этот разговор являлся большой неожиданностью, он по правде говоря, был для нее далеко не безразличен.

«Вы говорите, что я вас не знаю. Правда, я едва запомнил ваше имя. Но все-таки я вас знаю лучше, чем кто-либо из ваших окружающих. Вы не хотите верить. Я пришел, чтобы доказать вам это. Вероятно, несмотря на ваше прекрасное воспитание, вам еще никто не говорил, что между внешним и внутренним человеком нет никакой разницы. Вы подумаете, без сомнения, что я много о себе воображаю, если я скажу, что во время

вчерашней встречи я угадал ваш характер, образ ваших мыслей, все ваше существо, ваши особенности в любви, в страданиях и в радостях, я угадал в вас то, что годами тщетно ищу и что так легко не могу снова встретить. Теперь вы понимаете, почему я много не раздумывал. Я переговорил бы с вами уже вчера, если бы вы не скрылись так неожиданно из зала вместе с вашей мамой».

«Если вы в течении трех часов успели так основательно изучить меня, вам будет скучно со мной в дальнейшей жизни».

«Я не собираюсь спасаться с вами от скуки. Я хочу совсем другого. Я вам объясню: крестьянин женится, чтобы иметь в лице жены работницу, которая является для него известной ценностью. Бездельник ищет в жене средства от скуки. Умник хочет, чтобы жена «понимала его», пусть она будет тупа и неразвита, ему самое важное, чтобы она «понимала» его лично. Он ищет в жене вполне определенной ценности возвеличения своей личности; она должна ему поклоняться. Это второстепенные эгоисты. Тот же, кто знает, что такое женщина и чем она может быть, тот выбирает для себя самое прекрасное, что может создать жизнь. Он не ищет жены, чтобы подчинить ее своей личности, он ищет женщину, кото-

рая сама является личностью, которая обладает широтой взглядов, независимостью, красотой духа, мощным размахом, которая предъявляет к жизни большие требования и умеет чувствовать, одним словом, женщину, которая сумеет быть счастливой. Тогда мужчина может быть убежден в своем счастье. Многие люди жалуются, что на их долю не выпадает широкого, захватывающего счастья и не знают, что они сами настолько ничтожны духом, что даже в случае удачи не смогут почувствовать этого счастья.

Есть мужчины, которые предпочитают некрасивую женщину красивой, не по ошибке или незнанию, а просто потому что красивые женщины их раздражают. Можете-ли вы уважать мужчину со скромными требованиями? Подумайте, можете ли вы любить мужчину, довольствующегося меньшим, чем вы есть на самом деле?»

«Но откуда вы знаете, что я обладаю всеми теми высокими качествами, о которых вы говорили?»

«Я объясню вам все, если вы удостоите меня, минутой внимания. Никто не поймет этого лучше вас. — Представьте себе, что темной ночью, скажем во время тумана или проливного дождя, перед вами кто-нибудь идет, закутанный в длинный плащ, который совершенно скрывает линии

его тела, для суждения об этом человеке для вас доступной остается только…»

«Его походка!»

«Совершенно верно. Откуда вы знаете?»

«Я не верю этому. Во всяком случае другого ничего не может быть».

«Вы поверите, если я вам объясню. Походка каждого человека не является случайностью. Она тесно связана с особенностями его телосложения. При характере вашей одежды никогда нельзя сделать правильного суждения о теле женщины, пока она стоит в спокойном положении, но едва только она сделает два, три шага, как тотчас же будут видны все пропорции и контуры. Однако вернемся к прежнему вопросу. Походка имеет свой ритм, который трудно объяснить на словах, но который можно чувствовать. При известном навыке вы по этому ритму легко построите все тело. Вы с точностью скажете, будет-ли это фигура ренессанса или рококо, классическая или фигура fin de siècle. Очень важно при этом, проходит ли линия движения непрерывно с головы до ног или переламывается на бедрах. В последнем случае перед вами будет недельная, непостоянная натура, о чем вы можете уже судить по многочисленным складкам на плаще. Придя к известному

выводу о телосложении данного человека, постарайтесь представить себе выражение его лица, главным образом форму рта и носа. По походке женщины можно узнать, какой у нее нос и какие губы. Тогда вы будете с достоверностью знать, будет ли она вас понимать и любить, когда узнает вас, а также будете ли вы ее любить или нет. Вы не можете узнать по этим данным, идет ли перед вами принцесса или нищенка, кухарка или миллионерша, но вы познаете природу этой женщины, как внешнюю, так и внутреннюю, вы будете знать свободное или ограниченное существо перед вами, богато одаренная натура или бедная. И когда вы ускорите ваши шаги и, пройдя мимо, посмотрите в самое лицо, в известном количестве случаев вы увидите, что вы…»

«Ошиблись!»

«Что я ошибся, так как попал в очередной раз на одну из тех женщин, которые, как и в жизни, меня всегда вводят в заблуждение и обманывают, у которых за все мучения любви никогда не получишь благодарности; в таких случаях я по возможности скорей прохожу дальше. К чему бы человек не стремился он должен держаться дальше от таких женщин, так как с ними его всегда постигнет неудача. Звезды не обманывают

нас. Если они и обманывают, то только там, где нет неба, где одно сатанинское наваждение. Для людей, обладающих расой, характерно то, что их душа и тело, их чувства и движения слиты во едино; по одному движению руки, как, например, теперь у вас, можно угадать, что вы чувствуете. Эти люди созданы по одной идее, они являются в полном смысле слова художественными творениями. Я влюбился бы в вас уже по одному движению вашей руки или ножки, или же увидя ваш почерк, а тем более, имея возможность, наблюдать вас целый вечер. Вчера я видел вас в обществе по крайней мере двадцати лиц. Я наблюдал также и за ними, и, если вы хотите, могу сказать, что вы о каждом думаете. Тогда вы увидите, правильно-ли я вас понимаю. Во всяком случае для меня каждое ваше слово, которое я мог уловить, являлось подтверждением того, что я угадал в вашем божественном образе и в гордом ритме ваших движений».

«Так, так, но любовь ослепляет».

«Любовь ослепляет, но кого? Мужчину, который никогда не расставался со стесненными условиями, который не знает ни жизни, ни людей и, думая, что делает свободный выбор, в действительности только подчиняется животному

инстинкту. — Если же влюбляется кто-нибудь из нас, он знает, чего он хочет. В этом вы можете быть убеждены, как я убежден в том, что вы не принадлежите к ограниченным женщинам, способным ревновать мужчину за его прошлое. Вам будет неприятно, если ваш муж не будет в состоянии оценить ваше достоинство сравнением с достоинством других женщин, которых он знал прежде. Я всегда любил лишь вас одну, еще задолго до того, как я вас узнал; удивительно ли, если мне тридцать шесть лет и я еще ни разу не был женат. Немногие из ваших поклонников могут похвастаться такими преимуществами. — А теперь позвольте представить вам последнее доказательство того, как высоко я вас ценю и как верно я вас угадал: вы смелая, решительная девушка; ваши глаза свидетельствуют об этом. Вы не задумаетесь выступить всем вашим существом в защиту вашего убеждения. Вы любите рисковать жизнью. Вам незнакомы, боязливое выжидание, нерешительность, обращение к другим за помощью и советом.

Элли, отняв руки от лица, которое она на секунду прикрыла, поднялась во весь свой рост, обняла шею своего гостя, тоже вставшего с кресла, и поцеловала его.

Игра жизни была выиграна.

У рынка

8 сентября. Я проснулся в четыре. Шторы еще спущены. В комнате — хоть глаз выколи. Я зажигаю свечку и начинаю одеваться. После вчерашнего я чувствую себя перерожденным; во всех членах своеобразная подвижность, голова чиста, тело на двадцать фунтов легче. Я чувствую мой удельный вес.

Когда я выхожу на улицу, вечернее солнце отражается в стеклах верхних этажей. Я отправляюсь в свой ресторан, покупаю «Принцесса Малоны» Метерлинка прочитываю ее за один прием. Если бы он вложил в свои идеи больше жизни, они бы не умерли так скоро. Я обедаю в Пале-Ройял и работаю дома до полуночи. Когда в два часа я выхожу из ресторана «Понт-Неф», мимо меня в длинном плаще проходит девушка; она напоминает мне Марию-Луизу; но это не она.

Отправляюсь к Бови, побуждаемый бессознательной потребностью услышать что-либо о Раймонде. Единственное знакомое лицо, которое я там встречаю — Мария-Луиза. Она просит у меня стакан молока и рассказывает, что вчера

на террасе в кафе д'Арнур одна девушка отравилась сулемой. Раймонда еще у себя на квартире. Она попала в заварушку. У нее долгов на сорок тысяч. — Эта новость наполняет меня удовлетворением. — Я спрашиваю, принимает ли она еще морфий. Нет, уже давно не принимает. — Она раскрывает свой плащ и показывает мне, что она уже освободилась от своего бремени. Из-за неудачных родов, она пролежала в больнице три недели; за это время она отвыкла от морфия. Правда, она выглядит гораздо лучше. Она больше не температурит, спит, как ребенок, и при пробуждении ее не преследуют мрачные мысли. Перед сном она всегда читает в кровати. Теперь она читает «La faute de l'Abbe Mouret». Она никогда не думала, что Золя может написать такую прекрасную книгу. Прежде она начала читать «Arsomoir», но находит этот роман безвкусным и скучным. Такую вещь и она может написать, если бы у нее было для этого достаточно времени!

Ко мне подходит девушка, которой я полгода тому назад дал один луидор. Я уже забыл ее имя. В то время она ходила в черном; теперь на ней новое, светлое платье с вставкой из синего шелка! Когда она была у меня, я дал ей одну из моих цветных рубашек, она взяла «La Fille Elisa»

Эдмонда де Гонкура, которую мне одолжила маленькая Жерментина, читала ее до самого утра и затем убежала. Она с удовольствием захватила бы с собой рубашку. Вместо этого я обещал ей подарить брильянтовое кольцо. На ее кругленьком, бледном личике с пухлыми щечками и острым подбородком сидит изящный маленький носик и пара черных, влажных глаз. Ее губы свежи, а брови узки и выгнуты наружу. По ее элегантному платью и ослепительно-желтым лайковым перчаткам я делаю вывод, что ее личные дела идут отлично. Она уже больше не живет в отеле Вольтера на Сенекой улице, но на первом этаже на улице св. Сульпиции. — Я спрашиваю, не хочет ли она чего-нибудь выпить. — Нет, у нее нет жажды.

Я никогда не видел такой милой, уютной комнатки. Она отделана желтым ситцем с мелкими цветочками. Я начинаю думать, что для этой цели использовали старую ночную рубашку. Из этой же материи перед кроватью сделаны огромные занавески, которые занимают полкомнаты. Девушка в светло-желтом платье с голубой отделкой, как нельзя лучше, гармонирует с этим милым футлярчиком, и я начинаю чувствовать себя в этом небольшом простран-

стве между окном и дверью, как бы отрезанным неизмеримыми пространствами от всего мира, от порока и расточения, от всех неприятностей и обязанностей.

Она спрашивает, пью ли я шартрез, берет с камина граненную бутылку и наполняет две рюмки. Шартрез цветом напоминает жидкое золото и приблизительно также пробегает по жилам. Разговор переходить на ее товарок. Она не знает, любят ли Лулу и Нини друг друга; возможно, почему бы нет. Лулу живет с собственной мебелью в небольшой комнатке, где она расставила все свое богатство. Всем, кого она ни встречает, она рассказывает, что живет в собственной квартире. Лулу без сомнения является господствующей стороной, Нини играет роль домашней собачки и может водится только с такими мужчинами, которых ей разрешает Лулу. — Знаю ли я Лулу? — Я отвечаю — нет и неосторожно прибавляю, что не по моей вине. — После этого разговор переходит на Раймонду. — Вот это — женщина! — Она видела меня с ней в ту знаменательную ночь в Grand Comptoir. — Интересно, сколько стоит такая женщина? — Чтобы загладить свою неосторожность с Лулу, отвечаю — пятнадцать франков. — Pas plus que ça? — Нет. Да и пятнадцать-то я дал неохот-

но. — Как мне правится Раймонда? Я серьезно качаю головой и заявляю: C'est une belle femme!

Она начинает перечислять всех любовниц Раймонды: большая Сусанна, маленькая Люси, с которой мы тогда были в Grand Comptoir, хорошенькая Люсьена, которая была с нами у Барра и т. д., и т. д. — она не понимает, как можно с девушкой ложиться в одну кровать! — Я спрашиваю: у нее, вероятно, есть любовник? — К ней приходят друзья других девушек, чтобы прогуливать с ней деньги, которые они получают от своих подружек. От них она все узнает. Нет, она ни за что на свете не согласится иметь любовника. — Я возражаю, что хорошо иметь кого-нибудь, кому можно принадлежать всем существом, с кем не нужно торговаться, кому можно делать бескорыстное добро и отдаваться по любви. — Она звонко хохочет. Этого хотят мужчины, которые, получая от женщин деньги, властвуют над ними. Женщины пресмыкаются перед ними, но такие женщины только рабыни.

Во время разговора я замечаю на столе колоду карт. Спрашиваю, не гадает-ли она на картах; она готова погадать мне. — dire la bonne aventure, вся процедура занимает полчаса. Я сажусь напротив, и она начинает рассказывать о моей матери,

об обеих сестрах, о куче золота от белокурого господина, в котором я тотчас-же узнаю моего издателя… спустя час моя обожаемая внезапно вскакивает и предлагает отправиться к рынку — un peu vadroniller. На улице так тепло и хорошо, а в комнате так тесно. — Мои возражения не помогают. Со стонами и протестами я вынужден подняться, мы наскоро выпиваем еще по рюмке шартреза и отправляемся в сумерках рассвета по направлению к рыночной площади.

Она просить зайти в Grand Comptoir, чтобы слегка перекусить. Там вероятно будет большое общество. Там нет ни музыки, ни общества. Она заказывает ужин, вино, и затем мы молча начинаем есть. Подходит кельнер: Des écrévisses? Une douzaine de Marones? Un demi poulet? Она три раза отрицательно качает головой. Кельнер отходит. Это трогает меня до слез. Я зову кельнера обратно и прошу принести две дюжины устриц. Глотая устриц, я замечаю, что мы хотели идти к Барра пить кофе. У Барра лампы уже потушены. Рядом с нами сидят музыканты и уничтожают свой ужин. Она спрашивает, как нравится мне вон та женщина. Я отвечаю, что она слишком напоминает кокотку. Тогда она спрашивает, не похожа ли и она на кокотку. Я лгу ей, и она спрашивает,

не похожа ли Раймонда на кокотку. — «Mais c'est une belle femme!» — отвечаю я. — Она после этого утверждает: «Tu l'aimes à la foliel».

Я выпил уже пять или шесть чашек, но жажда продолжает меня мучить. Однако здесь кофе слишком дорого, порция стоить один франк. Поэтому я предлагаю пойти в Chien de fume. Она не знает этого заведения. Я уверяю, что оно по близости. При первых лучах восходящего солнца, мимо бесконечных рядов цветной капусты, репы и свеклы мы отправляемся в Chien de fume, взбираемся по винтовой лестнице кверху и садимся у окна. Под нами расстилается бесконечное море рыночной суеты. Мы приходим к убеждению, что нет ничего более приятного, как наблюдать за лихорадочной, деловитой жизнью. Чтобы в полной мере оценить расстилающуюся перед нами картину я вместо кофе заказываю устриц и бутылку крепкого вина. Великий Наполеон дает тему для разговора.

Мой маленький ангел боготворит его. Если бы она была мужчиной, тогда берегись Европа! Мы говорим о герцоге Лейхтенбергском, в красивые глаза которого она влюблена. Я рассказываю ей о роскошном надгробном памятнике, который воздвигнут ему в церкви св. Михаила в Мюнхене.

По ее мнению, он был зять Наполеона. Я считаю его скорей за приёмного сына. Мы оба не совсем уверены в своих утверждениях. Не так давно она читала книгу — имя автора не осталось у нее в памяти в которой рассказывается о всех метрессах при французском дворе, начиная с Дианы де Пуатье и кончая прекрасной Терезой. Мы говорим о Дюбарри, Мантенон, мадам де Помпадур, мадам де Севинье, мадам де Сталь, Адели Куртуа и благополучно добираемся до женщины-папы Иоганны. Затем речь переходит на кулинарные темы, на различные рестораны в городе и по ту сторону Сены. Мелкие рестораны с низкими ценами никуда не годятся. Правда, дают полный обед, но рабочий человек никогда не будет сыт им. Я соглашаюсь, так как опыт убедил меня в этом. Подобно мне, она переносит только свежую зелень. Не считая спаржи, она из всех овощей больше всего любить брюссельскую капусту. Цветную капусту она находит слишком безвкусной. Ее вкусы похожи на мои. Мы говорим о свежей землянике, об ананасах; мало-помалу мы становимся одна душа и одно тело. Когда она на один момент выходит, я прошу кельнера принести одну бутылку померанского. Рыночная площадь залита мягким солнечным

светом. Перед нашим окном толпа копошится, как в муравейнике. Высокие, пестрые баррикады зелени исчезли — может быть, уже съедены. У меня на душе так невыразимо приятно. Моя дама, вероятно, из хорошей семьи. Я не замечаю у нее никаких промахов. Она снова садится на свое место и также подносить стакан к губам, как если бы она была в хорошем обществе. Она родом из Нормандии из Фалеза. Я хорошо знаком с этим местечком и могу проверить ее слова.

Она читала «Maison Tellier» Мопассана, но не хочет говорить об этой книге. Она рассказывает, что в Фалезе у нее осталась богатая, замужняя сестра, которая каждую зиму приезжает в Париж. Она не встречается с ней. Она сама после совершеннолетия получит кое-какие деньги, тридцать или сорок тысяч франков. Она немедленно накупить себе платьев и в три месяца сумеет все растратить. Полное отсутствие потребности вернуться к прежней жизни. По ее мнению, она уже отвыкла от Фалеза, где люди в 8 часов вечера ложатся спать, в 7 часов утра встают, никогда не ходят по кафе и за весь год ни разу не кутят. Я предлагаю ей, когда она получит деньги, избрать меня специальным другом.

Я обращаю ее внимание на мои положитель-

ные качества, на веселый характер и уменье обращаться с дамами. Она смеется и уверяет, что я богаче ее. Я возражаю, что мне не откуда больше ждать тридцати или сорока тысяч франков. Она соглашается на мое предложение с условием, что я прокучу с ней все, что у меня осталось; я должен выложить все на стол. Я предпочитаю отказаться от этого, чтобы не портить свою кредитную историю.

Я смотрю на часы и вижу, что они остановились. Спрашиваю кельнера, Боже мой, уже половина первого! Моя дама тоже поражена. Волей-неволей мы должны завтракать. Она хочет поправить перед зеркалом волосы, но в него ничего не видно. Сверху до низу оно покрыто надписями, свободного места не хватит даже для наклейки почтовой марки. Несмотря на это, она просит дать ей что-то острое. Я даю мою запонку, но она не пишет. Я говорю, что при первой возможности я отдам ее в шлифовку.

Спасаясь от жгучего солнца, мы проходим по цветочному отделу рынка. Справа и слева грудами лежат розы, всевозможных цветов от чистейшего снега до яркого пламени. С жадностью я вдыхаю опьяняющий аромат. Он действует на меня, как сильное успокаивающее средство. В

Grand Comptoir чувствуется приятная свежесть. Кельнер, вспомнив, что уже видел нас накануне вечером, старается нам всячески услужить.

Нам обоим хочется чего-нибудь освежающего и мы завтракаем более из чувства долга. Мы заказываем пуле-майонез, огромную миску салата, корзинку персиков и сочных груш и легкое белое вино. Кофе мы решаем пить дома. Очищая своими изящными пальчиками персик, моя красавица спрашивает меня, как она выглядит. Конечно, я отвечаю: очаровательно. Она мне несколько напоминает секционный зал. Ее глаза сохраняют влажный блеск, и, как ни удивительно, ее губы остаются по-прежнему ярко-розовыми.

«Ты употребляешь кармин?»

«Нет, у меня всегда такие губы». — Стараясь доказать, она энергично трет их влажным носовым платком.

У меня мелькает мысль: особенно-то стараться ей не следовало бы, а в сущности, что мне за дело.

В открытой пролетке мы через мост св. Михаила возвращаемся домой. Париж простирается перед нами во всем своем блеске; может быть, я сделался через меру впечатлителен? Залитая ярким светом голубая Сена, по которой бороздят

бесчисленные пароходики, черные буксиры и длинные, белые баржи, деревья на бульваре, увядающая зелень которых дрожит в теплом, ласкающем воздухе, а на ветвях там и тут качаются еще пестрые обрывки серпантина от последнего карнавала — все увеличивает мое прекрасное настроение, и мне начинает казаться, что Бог только для этого создал всю эту красоту. Моя дама предлагает мне партию пикета в Café de la Source. Сперва я кое-что проигрываю, но затем возвращаю все в две талии. После этого она снова выигрывает пять франков, прекращает игру и требует уплаты. Я утешаю ее завтрашним днем, но так как она не отстает, я, соображаю, что для нее в противоположность мне время — деньги, уступаю при условии, что она заплатит за мой кофе в Café Vachette.

У меня в кармане больше нет ни одного су.

Мы отправляемся в Café Vachette. Кельнер, который видит меня ежедневно в моем укромном уголке, с удвоенной вежливостью спрашивает, что нам угодно. Я ссылаюсь на мою даму. Последняя не может скрыть своего смущения. С опущенными глазами она едва произносит: «Две чашки кофе».

«С коньяком?» — спрашивает меня кельнер.

«Это зависит от моей дамы».

«Конечно, с коньяком!» — поспешно произносит она.

Мы оба чувствуем себя утомленными. Выпив одну чашку, я прошу заплатить также за вторую. Пять франков она держит еще в руке, и когда кельнер проходит мимо она заказывает еще одну чашку для меня.

Половина четвёртого. У меня больше нет времени. Мы доходим до Carrefour de l'Odéon и там расстаемся.

Я смотрю ей в след. Когда она заворачивает за угол улицы св. Сульпиция, я вспоминаю, что забыл спросить ее имя. Затем я возвращаюсь в свой отель, опускаю гардины и, не раздеваясь, ложусь в кровать.

Когда я снова перечитываю эти строки я замечаю в них одну характерную особенность. Как и все дневники, они не содержат никаких событий. Когда события врываются в жизнь, у человека пропадает всякое желание и охота к писанию дневников, и он снова возвращается к непосредственности ребенка или животного на условиях первобытной жизни.

Мне скучно
(1883)

9 февраля. Меня гложет такая адская скука, что я прибегаю к помощи дневника, к которому я уже не прикасался в течении 10 месяцев. Вильгельмина обедает с нами и когда Карл, и я провожаем ее вниз по склону, я обдумываю, чем я могу побудить ее к обмену нежностями в течении этой зимы. Она действительно превратилась в соблазнительную девушку: черные глаза, хорошенькая головка, красивые, полные руки. Ей уже исполнилось 27 лет, но она очевидно только теперь достигла своего полного расцвета.

12 февраля. Вильгельмина просит мне передать, что бы я проводил ее на каток и что она по уши влюблена. Когда я вхожу в ее будуар, она подает мне карточку кабинетного формата: это он. Пока я рассматриваю его, она берет альбом и, ужасно жестикулируя, читает несколько посвящаемых ему строк. На катке, бегая со мной под руку, она поминутно вытаскивает карточку, ласкает ее влюбленными взглядами и на каждом шагу теряет конек. На обратном пути повторя-

ется та же история. Придя в мою комнату, она покрывает карточку поцелуями и начинает то вынимать, то снова вставлять ее в футляр, чтобы во всех подробностях и частностях насладиться ее прелестями.

Она хотела бы только месяц иметь право ездить вместе с ним. Он никто иной, как знаменитый тенор. За возможность провести полгода с ним она готова отдать всю свою жизнь. Я вполне понимаю ее: вся ее жизнь была так однообразна и вероятно будет такой же в будущем. Играя со мной в четыре руки, она при каждой паузе накладывает поцелуй на обожаемые черты. По окончании этого с ней начинается настоящая агония, она падает на кушетку и без малейшего сопротивления переносит мои ласки. Только время от времени она произносит замирающим голосом: «Фу, какой ты противный, какой ты противный!»

Да благословит тебя Господь, божественный тенор. Разве мог я предполагать, что вступление будет так просто. Мне начинает казаться, что в будущем меня больше не ожидает такая ужасная скука.

13 февраля. Вильгельмина встречает меня с распростертыми объятиями. Накануне вечером она не смогла бы спеть своей арии, если бы я

перед тем не создал ей настроения. Их кружок готовится к постановке «Ружейный мастер». Она утверждает, что у меня мягкие, женские губы. Я, старый дурак, повторяю с ней мои старые, истасканные комедии. Она настаивает, чтобы между нами о любви не было и речи. Для меня лично совершенно безразлично, о чем будет речь. Если бы ее рот был создан только для разговоров, я бы попросту зашил его. Фонтан ее красноречия предупреждает с моей стороны всякую возможность атаки. Что касается меня, то в удовольствиях я люблю серьезность и спокойствие. Через десять минут, слава Богу, фонтан иссякает. Она уже посвятила мне стихотворение, в котором все-таки говорится о любви. Очевидно она еще не настолько владеет языком, чтобы избежать этого слова. Затем она рассказывает, где и как она научилась целоваться, скучная-прескучная история без высот и обрывов, из которой я, однако, вывожу заключение, что она с полным правом носить свою девичью фамилию. Внезапно она спрашивает, где научился я, но застигнутый врасплох, я закутываюсь в плащ мрачного молчания и в глубине души стыжусь своей учительницы, доброй старой тети Елены.

16 февраля. После обеда я отправляюсь за Виль-

гельминой, чтобы пригласить ее к ужину. Она требует, чтобы с сегодняшнего дня между нами все прекратилось. Я отвечаю, что я еще ничего не начинал, это она такая нетерпеливая, я же не вижу надобности спешить. Свое решение она выражает по крайней мере в шести стихотворениях. Она вынимает револьвер, прижимает меня к спинке кушетки и, держа взведенный револьвер перед моим лбом, читает эти стихотворения. Дрожа всем телом, я прошу ее прекратить свои шутки. Внезапно она набрасывает на мою голову белый, шелковый платок, падает мне на шею и целует через платок; приходит после этого в бешенство и бросает мне в лицо свою туфлю. Затем она начинает умолять меня посвятить ей стихотворение. Я пишу три коротеньких строфы, в которых, однако рифмую вдвоем с Содом, чем глубоко оскорбляю ее чувство. Вечером, когда мы стоим на башенке у окна, она признается, что только раз в жизни она хотела попробовать любви и попалась на удочку. Во всяком случае она прекратит раньше, чем будет брошена. Затем она требует от меня полной откровенности. Я спрашиваю, знает-ли она, что самое ужасное в жизни. Она отвечает: Неудовлетворенное желание. Я наклоняюсь и шепчу ей на ухо: Скука! — На ее

лице отражается глубокое сострадание. За ужином возбуждается вопрос, проходить-ли путь к губам через сердце, или путь к сердцу через губы. Мнения разделяются и начинаются оживленные прения. Моя мать защищает первое положение; Вильгельмина решительно отстаивает путь через губы. Карл, занятый в течении целой недели колкой дров для успокоения нервов, возражает, что путь к сердцу проходить не через губы, а через уши, путь же через губы ведет не к сердцу, а в желудок. Вильгельмине хочется прочесть мое стихотворение, но она не может, так как оно спрятано на ее груди. По мнению матери, мы все свои люди и можем не стесняться, но Вильгельмина возражает: оно лежит очень глубоко. При этих словах Карл, краснея, опускает глаза.

После ужина я и Карл зажигаем в камине огромную кучу хвороста и отправляемся на чердак за чемоданом с турецкими нарядами. Пронося его по двору, мы видим, как из трубы ярким снопом вылетают искры и теряются в далеких звездах. Карл говорит, что если загорится крыша, мы не достанем воды, так как пруд замерз. Я успокаиваю его: кому будет жаль, если сгорит весь замок, вся эта роскошь уже давно приходит к концу.

Все общество наряжается в турецкие костюмы.

На моей матери длинный балахон из генуэзского бархата с золотыми бортами. На смирнском ковре он начинает танцевать с неподражаемой грацией и гибкостью турецкий танец. Вильгельмина, Карл, обе малютки и я рассаживаемся вокруг нее на подушках и пьем кофе. Карл играть на губной гармонике, я аккомпанирую ему на гитаре. Затем Грета и Эльза исполняют pas de deux, которому их научила моя мать. После этого она начинает рассказывать о своих переживаниях на сцене в Сан-Франциско, в Вальпараисо, на Гасиенда и о своем первом муже, который к концу каждого концерта всегда проигрывал все, что собиралось в начале в кассе. Он был убит не мене трех раз, один раз во время восстания в Венесуэле, затем при коммуне и наконец в русско-турецкую войну. В настоящее время он орудует в качестве церемониймейстера в Palais de Glace в Париже. Я бесконечно благодарен случаю, познакомившему меня с ним. Внезапно Грета своим проницательным взглядом открывает на моей шее кровянисто-красное пятно. Я едва сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Провожая Вильгельмину домой, и, чтобы утешить ее, всяческим окольными путями доказываю, что она не единственная, что она только представи-

тельница своего рода, что мне как раз интересно рассматривать ее в первую очередь, как тип, а затем, как индивидуум. Я убеждаю ее, что женщины часто воображают, что они единственные в своем роде, также, как и мужчины, страдающие излишним самомнением. Когда они убедятся, что они ничем не отличаются от других, их болезнь будет излечена.

17 февраля. В два часа я отправляюсь к Вильгельмине. Ее сестра дома. Когда она наконец отправляется в свой женский кружок, мы с радостью смотрим ей в след. В жизни встречаются люди, на которых приятнее смотреть сзади, чем спереди, так как при взгляде спереди они вызывают боль, а сзади — удовлетворение. Я объясняю Вильгельмине, что это является причиной возникновения греческой любви. Она не постигает, каким образом такой крайний ум, как мой, может интересоваться такими серьезными вопросами. Затем разговор переходить на цилиндры. Я всегда одеваю цилиндр, когда хочу ее совершенно охладить. Мы решили, что при венчании я буду в панаме, а при разводе в цилиндре. При прощании она просит, если у меня есть хоть капля чувства, написать ей стихотворение. Мы сговорились отправиться в Арау, в купе я должен прочесть его.

На урок музыки является Грета. Вильгельмина толкает меня бесшумно в соседнюю комнату, душит меня в объятиях и возвращается затем со спокойствием Мадонны, в то время как я на цыпочках выхожу из дому.

После ужина я пересматриваю все свои стихотворения, но не могу подыскать ничего подходящего. Ложусь на диван, но, несмотря на все старания, мне не удается сконцентрировать на ней свои мысли. В результате я засыпаю безмятежным сном.

18 февраля. Великий день. Выходя из дому, беру с собой лист чистой бумаги в надежде, что по пути что-нибудь западет в голову. На вокзале на меня бросается Вильгельмина с вопросом, где стихотворение. Отвечаю, что не могу читать при всех на вокзале и увожу ее на уединенную скамейку. Там передаю ей сложенный лист бумаги, который она развертывает, сияя от гордости и счастья. Замечая ее изумление, я объясняю, что, вероятно, дома перепутал бумагу. С горящими от гнева глазами она дает мне звонкую пощечину. В этот момент, слава Богу, подходить поезд. Сидя в купе я поминутно целую ее руку и уверяю ее в своей искренней любви. В Арау за стаканом пива в гостинице «Дикого человека»

мне удается окончательно успокоить ее нервы. На обратном пути мы попадаем в первый вагон в купе над самой вагонной осью. На первой же стрелке нас, как мячики, подбрасывает кверху; я держу ее в своих объятиях точно также, как три года тому назад на этой же линии и в таком же купе я держал Делилу, когда мы с ней каждое утро ходили в школу и вечером возвращались домой. Утром мы спрашивали друг у друга уроки, а вечером курили папиросы. Теперь она служит где-то учительницей и воспитывает молодых девушек в нравственности и воздержании. Разница во всяком случае огромная. Там блаженное самозабвение, здесь же по-прежнему боязливая застенчивость. Но как здесь, так и там те же нелепые замечания. Несмотря на колеблющийся мутный свет я вижу легкий пушок на щеке, несколько родимых пятнышек и под глазом две морщинки, как под микроскопом с увеличением в пятьсот раз. Я думаю, что в такой близости даже самая нежная кожа не выдержит критики. Я больше не пытаюсь возбуждать разговора, так как она вполне занята своими собственными мыслями, и, сохраняя гробовое молчание, я провожаю ее домой.

19 февраля. К обеду приходит Вильгельми-

на, располагается на моем диване и тотчас же засыпает крепким сном. Проснувшись она заявляет, что с одной стороны она слишком молода для меня, с другой слишком стара. Собственно говоря, я должен иметь двух жен: одну шестнадцати и другую сорока шести лет. Затем она просит меня пойти к ее сестре, жене председателя суда, и передать, что она завтра не может прийти в гости, так как ей нужно дать урок музыки у городского секретаря. Сопровождаемый напутственными пожеланиями, я отправляюсь к председательнице суда. На мой стук Елизавета открывает дверь и приветливо протягивает руку. Этого достаточно, чтобы превратить меня на весь вечер в самого искреннего брачного кандидата. Елизавете пятнадцать лет, она еще не совсем выровнялась, но ее упругая, молодая грудь отчетливо вырисовывается под платьем, а юбка плотно охватывает ее красивые, полные бедра. Ее руки и ноги несколько велики, но ее походка приятна и правильна. Ее полное личико дышит свежестью молодости, хотя и несколько застенчиво, ее большие, темно-голубые глаза спрятаны в рамка густых, каштановых волос. Ее вид приводить меня в смущение, и я раскаиваюсь, что не сказал ей ничего приятного. Ее мать принимает

меня в салоне. У меня просыпается странное чувство, встречая жилой характер в этом доме, в котором я не был с момента его постройки. Младшие братья, занятые перевозкой большой кучи золы, шумят на дворе. Мать с гордостью рассказывает о своем муже. Последний входит в комнату и в виде приветствия щиплет свою жену в локоть. На обратном пути я усердно мечтаю по возможности скорей жениться на этом маленьком зверке, вывезти его в свет, на встречу всевозможным опасностям и приключениям, и вместе с тем создать в нашем замке тихий уголок отдыха. Я мечтаю о честнейшем председателе суда, как о своем тесте, об Елизавете, как о своей супруге, матери и хозяйке дома в кругу веселых и здоровых ребятишек.

1 марта. По покрытой свежим снегом дороге мы с Вильгельминой отправляемся по направлению к Сеону и доходим до леса. Вильгельмине кажется, то она видит свежие следы своего отца, который утром ушел на охоту. Торжественная тишина и величие мертвой природы вдохновляют нас к любовным разговорам. Если бы я был художником, я сегодня же женился бы на ней. Для писателя брак является гибелью. Тем более, если я женюсь по любви и примирюсь со всем

миром, тогда я просто должен лечь в могилу. Вильгельмина мечтает еще раз в жизни полюбить вполне искренне, но не теперь, а, как можно, позднее. Она утверждает, что если бы даже я хотел, она теперь ни за что не согласится. На это я начинаю усердно возражать. Через полчаса она влюбляется в меня до сумасшествия. Отвернувшись в сторону, она всхлипывает. Я утверждаю, что, коснувшись идеализма, я подействую на нее с большей верностью, так как она знает меня только, как шалопая. Она просит проводить ее до дома. Я возвращаюсь с сознанием своей победы. Дома все спокойно. Я рано ложусь в кровать и мечтаю о Париже.

9 марта. Вильгельмина проповедует мораль, она чувствует, что она согрешила, она не может больше успокоиться, ей начинает казаться, что она поступает неправильно. Внезапно она вскакивает и спрашивает меня, чем она является для меня. — Для чего она хочет это знать? — Не все ли равно. — Я говорю, что я могу ее обмануть. — Она опускает голову: Это-то и печально; таким образом я всегда сохраню преобладающее положение. — Я спрашиваю: почему она волнуется и почему вообще она задала этот вопрос? — Она отвечает: ей будет легче, если она узнает прав-

ду. — Я говорю: предположим, что она была для меня игрушкой. — Она смотрит в сторону: я для нее был приятным времяпрепровождением. — Может быть, своего рода находкой, так сказать энциклопедическим словарем? — На ней, говорит она, как на кролике, я проводил свои опыты. — Но к чему все это? — Теперь я спрашиваю: разве она не верит, что у меня могло быть более глубокое чувство? — О, никогда! Она спросила только ради своего спокойствия. — Прощание при бесконечных объятиях. Под железнодорожным мостом я встречаю маленькую Елизавету. Она приветствует меня дружеским кивком головы, от чего во всем моем теле разливается ощущение приятной сладости. Я с достоинством отвечаю на ее поклон. Я не допускаю улыбки. Я боюсь проницательного взгляда невинности. У нее без сомнения восхитительные губки и хорошенькие глазки. Вернувшись домой, я еще около часа блуждаю в приподнятом настроении по высокому валу, вдыхая полной грудью мягкий весенний воздух. Дрозды уже начали петь. На Шварцвальден и Юре горят пасхальные костры. Скучный вечер в кругу домашних.

20 марта. Позавтракав в первый раз после двухнедельного перерыва, я отправляюсь на

экзамен гимнастики в женскую школу. Среди учениц второго класса имеется только одна хорошенькая: очень тонкие черты лица, молочная кожа, черные глаза, изящный нос. Мало выражения, чувствуется замаскированное лукавство. Изящные ноги, но плохая выправка. В третьем и четвертом классах, которые выступают вместе, тоже только одна достойна внимания, но за то это роскошный экземпляр: моя Елизавета. Она стоить недалеко от меня. Упругое тело, свежее, серьезное и неглупое личико. Образцовая выправка и обусловленная полнотой мягкость движений. Девочки восхитительно выполняют упражнения с палками, старый учитель наигрывает на скрипке старинный менуэт.

25 марта. После обеда ко мне наверх приходит Вильгельмина. Она снова посвятила мне целую кучу стихотворений. Я не в состоянии слушать ее. Она чувствует себя глубоко обиженной. Я утешаю, доказывая ей свое сочувствие. Домашнее воспитание сделало ее через чур чувственной. Во время кофе я, не владея своими нервами, бросаю на голову Греты тарелку с бутербродами. Она плачет и запирается в своей комнате. После этого отправляюсь на экзамены в женскую школу, сажусь напротив Елизаветы и облокачиваюсь на

соседний стул. На лицо напускаю недовольное выражение, с одной стороны, чтобы отделаться от посторонних обращений, с другой, чтобы иметь возможность фиксировать ее пристальным взглядом. По правде говоря, никто особенно не стремится к разговору со мной. Господа преподаватели с невыразимо важным видом двигаются вокруг стола, открывают и закрывают больше журналы и, не теряя своего достоинства, заботятся об отоплении. Елизавета сохраняет полное спокойствие, хотя без сомнения она заметила мое странное поведение. Она прекрасно отвечает на все вопросы, как, впрочем, и все остальные. В общем экзамен производит на меня отвратительное впечатление, в особенности поднимание рук, которое некоторые сопровождают ядовитыми взглядами. Я беру Елизаветину тетрадь сочинений и на полях записываю карандашом свои мысли. Ее тетрадь не содержится в особый опрятности, почерк местами своеобразен. Я целиком читаю сочинение на тему о поездке во время каникул. После этого я ухожу с экзамена, как мне кажется, очень эффектно, а в общем для меня все совершенно безразлично. В соседней комнате просматриваю ее геометрические чертежи, которые тоже не слишком геометричны.

Я уже начинаю радоваться, что обману также и ее. Мысли о женитьбе исчезли. Меня больше не привлекает счастье иметь тестем старого председателя суда, а тем более ее — спутницей жизни. Вечером я работаю в своей комнате. Как и вчера, приходить старая бездельница Пузи и мяуканьем дает знать о своем приходе. Так как я отворяю не сразу она начинает царапать дверь. Когда я впускаю ее в комнату, она сразу направляется к стенному шкафу и пытается лапой открыть дверцу. Я впускаю ее внутрь, и она располагается на моих символических стихах. Я притворяю дверцу, чтобы не падал полный свет. Спустя некоторое время, она начинает ворочаться. Она стонет и ворчит, переворачивается и лижется. Правильно повторяющееся напряжение тела. Затем она извлекает пастью первого. Я слышу, как она что-то проглатывает, и вижу, как она снова напрягается. Такая процедура повторяется пять раз. Роды продолжаются около часа. Облизав, как следует, своих детей, она начинает мурлыкать. Я беру мандолину и наигрываю им колыбельную песнь Брамса. Половина четвёртого. Через открытое окно наплывают волны влажного, свежего воздуха. В замке стучат двери и ставни, а в старых липах, как отдаленный прибой, шумит ветер.

Предохранительная прививка

Рассказывая эту историю, я совершенно не хочу показать вам пример лукавства женщины или глупости мужчины; она интересна только, как небольшой курьезный случай, который каждый может использовать в своей жизни. Но сначала я должен категорически отстранить всякое обвинение в том, что, рассказывая эту историю, я хочу похвастаться своими прошлыми, легкомысленными шалостями, о которых я теперь искренне сожалею и к которым у меня в настоящее время, когда волосы поседели и колени ослабли, нет ни малейшей охоты.

«Тебе нечего бояться, мой милый, славный мальчик», — сказала однажды Фанни, когда ее муж только-что вернулся домой. «Мужья в общем ревнуют только до тех пор, пока к этому нет никакого повода. С того момента, когда у них действительно имеется основание ревновать, их поражает неизлечимая слепота».

«Мне подозрительно выражение его лица», — ответил я полушепотом. «По-видимому, он уже что-нибудь заметил.

«Мой дорогой, ты неправильно оцениваешь это выражение», — сказала она. «Выражение его лица является результатом изобретенного мною средства, которое я применила к нему, чтобы навсегда излечить его от всякой ревности и предупредить возникновение какого-либо неприятного подозрения по отношению к тебе».

«Что это за средство?» — спросил я удивленно.

«Это в своем роде предохранительная прививка. В тот день, когда я решила избрать тебя своим любовником, я сказала ему прямо в лицо, что я люблю тебя. С того момента я постоянно твержу ему об этом. У тебя есть причина, говорю я, ревновать этого милого мальчика; я действительно люблю его всем сердцем; не наша с тобой заслуга, что я до сих пор не согрешила, только от него одного зависит, как долго я останусь тебе по-прежнему верна».

В этот момент для меня стало ясно, почему ее муж при всей своей любезности иногда, когда он думал, что я за ним не наблюдаю, смотрел на меня со странной сострадательной и презрительной улыбкой.

«И ты веришь, что это средство может действовать продолжительное время?» — спросил я недоверчиво.

«Оно безупречно», — ответила она с уверенностью опытного астронома.

Несмотря на это, я все-же сильно сомневался в верности ее психологического расчета, пока в один прекрасный день следующее событие не доказало мне правоты ее слов.

В то время я снимал в центре города в узком переулке на четвертом этаже огромного дома маленькую меблированную комнату и обыкновенно все утро валялся в кровати. Однажды в яркий солнечный день в девять часов утра отворяется дверь и она входит в комнату. Я бы никогда не стал рассказывать дальнейшего, если бы оно не служило доказательством самого невероятного, но все-же объяснимого ослепления, которое может овладеть человеком. Она сбрасывает с себя все излишние принадлежности туалета и присоединяется ко мне. Далее, мои друзья, вы не услышите больше ничего двусмысленного или пикантного. Еще раз повторяю, что совершенно не собираюсь, занимать вас неприличными историями. — Едва только одеяло скрыло прелести ее тела, как на лестнице раздались шаги; в дверь постучались, и я едва успел быстрым движением спрятать ее голову под одеяло, как в комнату вошел ее муж, обливаясь потом и тяжело отдуваясь

от чрезмерного напряжения, вызванного подъемом на сто двадцать ступенек, но с веселым, сияющим лицом.

«Я пришел спросить тебя, не поедешь ли ты на прогулку со мной, Робелем и Шлеттером. По железной дороге мы доедем до Эбенгаузена, а оттуда на лошадях до Амерланда. Правда, сегодня я хотеть работать дома, но моя жена с утра ушла к Брюкманам справиться насчет здоровья их младшего сына, и у меня не хватило терпения при такой великолепной погоде оставаться дома. В Café Луитпольдя встретиль Робеля и Шлеттера, и мы решили устроить прогулку. В десять пять-десят семь отходит поезд». Между тем я успел несколько успокоиться. «Ты видишь», — произнес я, улыбаясь: «что я не один».

«Да, я заметил», — ответил он с красноречивой усмешкой. При этом его глаза загорелись, а подбородок начал вздрагивать. Он сделал нерешительно шаг вперед и остановился перед стулом, на который я обыкновенно складывал свою одежду. На самом верху лежала тонкая, батистовая, кружевная рубашка без рукавов с вышитыми красным шелком инициалами, а на ней пара длинных, черных, шелковых чулок с золотистыми стрелками. Так как больше ничто

не свидетельствовало о присутствии женщины, его взгляды с нескрываемой похотливостью впились в эти принадлежности женского туалета. Момент был решающий. Еще немного, и он мог вспомнить, что уже видел в своей жизни эти вещи. Во чтобы то ни стало, я должен был отвлечь его внимание в другую сторону и овладеть им настолько, чтобы оно уже больше не выскользнуло из моей власти. Этого можно было достигнуть только чем-нибудь совсем невероятным. Эти мысли, которые с быстротой молнии пронеслись в моем мозгу, побудили меня тогда к такой необычайной грубости, что даже теперь, через двадцать лет, я не могу простить себя, несмотря на то, что в то время эта грубость спасла наше положение.

«Я не один», — произнес я. — «Но, если бы ты имел хоть какое-либо представление о божественности этого создания, ты позавидовал бы мне». При этом моя рука, которая держала над головой моей любовницы одеяло, судорожно сжалась, чтобы предупредить с ее стороны любое проявление жизни.

Его взгляды с жадностью скользили по одеялу, скрывающему ее тело.

Сейчас я покажу тебе нечто незабываемое. Я схватил одеяло и отбросил его кверху до са-

мой шеи, так что закутанной осталось одна голова. — «Видел-ли ты когда-нибудь такую роскошь?» — спросил я его.

Его глаза были широко раскрыты, но он почувствовал некоторое смущение.

«Да, да должен признаться — у тебя прекрасный вкус — однако я пойду, извини пожалуйста, что побеспокоил». Он начал пятиться к двери, а я не спеша, опустил одеяло… Затем я быстро вскочил на ноги и встал перед ним так, что он уже больше не мог видеть лежащих на стуле чулок.

«Во всяком случае с дневным поездом я тоже приеду в Эбенгаузен», — произнес я, когда он взялся за дверную ручку. «Ждите меня в гостинице у почты. Тогда мы вместе отправимся в Амерланд. Это будет великолепная прогулка. Благодарю за твое любезное приглашение».

Он сделал еще пару добродушных, игривых замечаний и вышел из комнаты. Я подождал у двери, пока его шаги не затихли внизу у выхода.

Я не буду описывать ужасного состояния бешенства и отчаяния, в котором после этой сцены находилась несчастная женщина. Она совершенно не могла владеть собой и дала мне доказательства такой ненависти и презрения, каких я никогда не встречал в жизни. Поспешно

одеваясь, она угрожала, что плюнет мне в лицо. Я, конечно, отказался от всякой попытки к оправданию.

«Куда ты теперь пойдешь?»

«Не знаю — может быть, топиться — или домой или наконец к Брюкман — справиться о здоровье их малютки. Я сама не знаю».

В два часа дня мы все вместе сидели под развесистыми каштанами у почтовой гостиницы в Эбенгаузене и наслаждались жаренными цыплятами и сочным свежим салатом. Мой друг, за душевным состоянием которого я исподтишка наблюдал, успокоил меня своим необычайно веселым настроением. Он бросал на меня красноречивые взгляды, с победоносным видом потирал свои руки, но ни одним словом не выдавал причины своего довольного настроения. Наша прогулка продолжалась без всяких осложнений и к десяти часам вечера мы снова вернулись в город.

На вокзале мы еще решили отправиться в один ресторан.

«Разрешите мне», промолвил мой друг: «сходить домой и привести мою жену. Она весь день просидела у больного ребенка и обидится, если мы заставим ее скучать дома». Через несколько минут он пришел с ней в условленное место. Раз-

говор, конечно, вращался вокруг предпринятой прогулки, причем каждый из участников по мере сил старался раздуть ее до всевозможных, невероятных приключений. Молодая женщина была не в настроении, молчала и не удостаивала меня ни одним взглядом. Он же еще в большей степени, чем днем сидел с необъяснимым для меня победоносным выражением на лице. Однако теперь его торжествующие взгляды предназначались больше его молчаливо сидящей половине, чем мне. Казалось, что он получил огромное внутреннее удовлетворение. Только через месяц, когда я впервые остался наедине с молодой женщиной, для меня разрешилась эта загадка. Выслушав еще раз ее горькие упреки, я достиг известного примирения, и она передала, как ее муж, прейдя в тот день домой, со скрещенными на груди руками сказал ей следующую речь:

«Теперь я узнал, моя дорогая, кто такой твой милый, дорогой мальчик. Каждый день ты признаешься, что любишь его, и не подозреваешь, что он потешается над тобой. Сегодня утром я был у него и, конечно, застал его в кровати в обществе какой-то женщины. Теперь для меня вполне ясно, почему он не обращает никакого внимания на тебя с твоим чувством. Его любовница — жен-

щина такой ослепительной, такой невиданной красоты, что тебе с твоими увядшими прелестями трудно с ней соперничать».

Так велико было действие предохранительной прививки. Я рассказал вам этот случай, мои друзья, что бы вы могли заблаговременно принять меры против такого средства.